

Владимир Гандельсман
ода одуванчику

РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР



Владимир Аркадьевич Гандельсман

Ода одуванчику

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050405

Ода Одуванчику:

ISBN 978-5-91627-037-2

Аннотация

В настоящее издание включены произведения петербургского поэта Владимира Гандельсмана, написанные и частично опубликованные в период с 1975 по 2007 год: разрозненные стихи, целиком книга «Школьный вальс» (стихи), а также литературный дневник «Запасные книжки» и эссе о литературе.

Содержание

Био	9
Стихи-I	25
«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...»	25
«Расширяясь течением реки, точно криком каким...»	27
«Бывали дни безмыслия, июль...»	29
«Вот...»	30
«Я тоже проходил сквозь этот страх...»	32
Из цикла «шум земли»	34
«Потому что я смертен...»	34
«Я верил в бога Ра...»	38
«Так посещает жизнь, когда ступня снимает...»	41
«Ляжем, дверь приоткроем...»	42
«Проснувшись от страха, я слышал: он вывел меня...»	42
«Назови взволнованностью земли...»	45
«Чудной жизни стволы...»	46
«О, вечереет, чернеет, звереет река...»	47
«Я возьму светящийся той зимы квадрат...»	49
«Я посвящу тебе лестниц волчки...»	51
«Остановка над дымной Невой...»	53

«Тому семнадцать, как хожу кругами...»	55
«Ранним, ранним утром бредётся...»	57
«Лучшее время – в потёмках...»	59
Цапля	60
«Я жил в чужих домах неприбранных...»	62
Утренний мотив	64
Стихи памяти отца	66
«Футбол на стадионе имени...»	69
«Из пустых коридоров мастики...»	71
«В георгина лепестки уставясь...»	73
«По коридорам тянет зверем...»	74
«Поднимайся над долгоиграющим...»	76
«Тихим временем мать пролетает...»	77
«Птица копится и цельно...»	78
«Это некто тычется там и мечется...»	79
«И одна сестра говорит я схохну...»	81
«Мать исчезла совершенно...»	83
Воскрешение матери	84
«Хочешь, всё переберу...»	86
Тема	89
Эмигрантское	92
Партитура Бронкса	94
«В полях инстинкта, искренних, как щит...»	96
Баллада по уходу	99
Одиночество в покипси	102
Мария Магдалина	104

Диптих	106
Распятие	109
Дерево	110
«Тридцать первого утром...»	111
Вещь в двух частях	114
«Я вотру декабрьский воздух в кожу...»	116
Художник	118
Воскресение	120
Запасные книжки	122
Конец ознакомительного фрагмента.	165

Владимир Гандельсман

Ода Одуванчику

Стихи поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения... Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары)... [В них есть] любовь любви, любовь к любви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатлённая.

Иосиф Бродский

Стихи Владимира Гандельсмана отмечены той свободой речи, которая оплачивается отчаянием, но способствует выживанию. Эта свобода стирает, но одновременно обновляет разницу между одой и элегией. Поэт блистательно владеет техникой стиха – тем, что сам называет «пробегками аллитераций» и «вольностью грамматики»; формальная игра у него приобретает глубоко содержательные измерения, словотворчество оказывается не банально футуристским, а скорее метафизическим. Гандельсман – один из немногих, кто вправе ощущать себя дома в поэзии, причём не только русской и не только современной (великолепны его вариации на темы Катулла и Баратынского). Последнее и, может быть, самое важное, что хотелось бы сказать: он обладает редкостным чувством не то чтобы единства, а неслиянности и нераздельности с миром, природой, другим

человеком.

Томас Венцлова

Это – сверхплотная и сверхстрастная поэзия. В теле гандельсмановского стиха аллитерационные строки чистейшего звучания и смысла буквально вспыхивают, как вспыхивают на случайном луче прожилки кварца, стиснутые горной породой. Страсть в его стихах угрюма, строга, сдержанна. Ничего ненужного. Смысл порождается как раз этой чудовищной плотностью. Что же до формальной стороны вопроса, то перед нами удивительный (и счастливый) случай новаторства, выросшего из зерна русской поэтической традиции.

Кирилл Кобрин

Уникальный способ проникновения в сердцевину мира, присущий именно Гандельсману, – это изобилие, даже теснота точных реалий, и вдруг чуть ли не в соседней строфе воспарение из-под этой груды в мир почти бестелесной абстракции – телом остаётся только слово <...> Его стихи часто, даже почти неизменно, вызывают у меня стандартную реакцию – напряжённое восхищение.

Алексей Цветков

Невозможно в здоровом уме вынести во всей полноте убеждение: «Я смертен». И тем не менее поэт каждым стихом решает эту задачу. В. Г. доводит ощущение смертности всякого мгновения и события, преломлённого в звеня-

щей чистоте детского взгляда, до предела, за которым, как ни странно, обнаруживается бессмертие... В этих стихах смысл вырастает из звука и, слившись с ним, в него уходит, как дождь в ждущую землю. Всё его техническое совершенство никогда не самоцель, всё работает на основную тему, на раскрытие жалкой и прекрасной бесполезности существования... Только такого читателя, для которого чтение – обряд, равносильный крещению, из которого он может выйти обновлённый сотворчеством, – только такого читателя ждёт эта книга.

Валерий Черешня

Посвящается моей жене Алле

Био

Автобиография, если она кем-то востребована, предполагает значительность: я родился и кем-то стал... – но если её начать единственно точными словами: «Я родился за несколько десятков лет до своей смерти...», то понятно, почему нет никакой возможности кем-то быть. Не остаётся времени: ни на хотение нарядиться в инженера, например, или в поэта, ни на пребывание в наряженном виде: кто-то.

Настоящая биография – это история не пребываний, но отсутствий, главное из которых – безусловно истинное отсутствие (БИО) – впереди. БИО обсуждению не поддаётся, но из прикосновений к нему и сопутствующих состояний складывается биография.

Эти состояния – вспышки, которые освещают всё, что рядом: остальную жизнь. Они – обрывы сердца, огромные обвалы неумения, безыскусного и безысходного сиюминутного горя, но в будущем воспоминании, возможно, *счастливого* горя. «Время – это движение горя».

Мы находимся в обратном натяжении к небытию. И чем преданней, тем чище. Чистота пребывания – это результат вычитания центростремительного вектора из центробежного, вектора к небытию из вектора к жизни, и чем меньше разность, тем точнее результат. В обычном случае результатом взаимодействия двух сил – вовнутрь и вовне – является

криволинейное движение.

12 ноября 1948 года – 1964 год. Ленинград. Родители: Аркадий Мануилович Гандельсман и Рива Давыдовна Гайцхоки. Старшие сёстры: Инна и Роза. Детский сад – школа.

Болезнь в младенчестве – первое пробуждение этого обратного натяжения. Тебя не отпускают в жизнь. Но тем самым и побуждают к ней. Ты лежишь и, глядя в потолок, видишь точку пустоты. Вот головокружительный опыт. Может ли такое быть: точка пустоты? Может, и это очень большая тоска. Похоже на вертящуюся пластинку: серое вращение плоскости с точкой в центре. Беспричинный страх, как всё беспричинное, свидетельство подлинное. Без примеси психологии и всего разумного. И эту пластинку заест: одна и та же музыкальная фраза будет возвращаться всю жизнь.

Другое состояние – любовь. Ты как средоточие любви. Покоящийся словно бы в колыбели родительского взгляда. Забавно говоря: в люльках глаз. И любовь к родителям. Вернее сказать, любовь, «предметом» которой стали родители. Как первые, попавшиеся на пути от БИО-1 (до-бытие) к БИО-2 (после-бытие)... Все эти долгие объяснения оттого, что речь, скорее всего, идёт не о состоянии людей, а о свойстве пространства жизни, ими затепленного и хранимого.

Мать поёт колыбельную «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...», или сидит за швейной машинкой «Зингер» и слюнявит нитку, или входит отец со сбритой полосой на

обмыленной щеке – очень необыкновенно. Всё, что предьявляется, предьявляется когда-то впервые, и родители создают любовную повторяемость событий, тем самым невольно оберегая нас от непрерывно и непривычно яркой новости. Но яркость прорывается, поэтому ребёнок так часто плачет. Режет глаза. Из этого непреднамеренного горя вырастает неотступное ожидание родителей, их прихода домой с работы. И страх, что не придут. Что умрут. Страх и жалость.

Как возникает понимание БИО? Когда? Из этих ожиданий? БИО как невозвращение никогда домой?

В первом классе умирает мальчик: он сидел на первой парте, фамилия Симаков, – потом ты слышишь, что умер от желтухи. Это значит, что он никогда в класс не войдёт и на своё место не сядет, а ты не увидишь его стриженный затылок и уши поперечным торчком. Просто исчезновение. Фокус переселения Симакова в твою память, которая через пятьдесят лет его легко воскрешает, потому что никогда не забывала.

Другой, тоже главный, вопрос: когда ребёнок видит себя в зеркале, впервые понимая, что это он? Взгляд на себя со стороны и возникновение образа себя. С этой точки могло бы начинаться изгнание из детского рая, но не помню и не встречал никого, кто бы помнил.

БИО выстукивает свой ритм, всё более сложный. От безразличного тебе исчезновения (его навсегда-запечатлённость происходит от нового, не известного до сего момента

сбоя заведённого порядка: не войдёт и на своё место не сядет...) – к очень не безразличному, потому что в пятом классе умрёт девочка, в которую ты влюблён. А двенадцатилетний человек уже знает, что в таких случаях следует переживать, даже страдать, хотя для страдания у него ещё нет взрослого эгоизма. Он будет пытаться присвоить это БИО себе, чтобы из подражания старшим стать значительней. Вектор жизни побеждает, устремляясь на ложные пути.

И дальше, и дальше, всё с-ложнее, но с неизменной победой вектора жизни. Пьер «не видит» смерти Каратаева... – это спасительная сила «перемещения внимания» и уклонение в сторону выживания. (Правда, по воле Толстого, в случае Пьера это совсем не ложный путь, наоборот: обретение Бога, Который везде... Думаю, что у Толстого иногда получалось не то, что он хотел...)

Расширение географии обитания забрасывает ребёнка в «чужое». На мгновение, на два, на всё дольше и дальше от дома. Это вроде захода в море: ополаскиваясь, постепенно привыкая к воде, опасно окунаясь... – прежде чем осваиваешься и плывёшь. Первая попытка проваль-на: слишком изнеженный и заласканный ребёнок сбегает домой из детского сада в первый же день, во время прогулки, – благо детский сад в соседней парадной. Но послеобеденный «мёртвый час» на казённой постели, запах кухни и линолеума навсегда отбивают охоту (которой, впрочем, и не было) к подобным приключениям. Раннее утро следующего дня отстаива-

ет в слезах своё право на неприкосновенность и сон.

Школа – решающий «заброс», из которого не выбрать-ся. Учительница пишет жалобу-записку (о плохом поведении ребёнка) и просит передать родителям. Семилетний сын не знает, что должен вернуть этот документ с подписью, он ещё не умеет читать «по-письменному», и рвёт бумажку на мелкие клочки за гаражами. Назавтра он поднят за партой и уличён во лжи: где записка? Это абсолютно космическое событие: ты сгораешь дотла, по ходу дела прикасаясь крылом к БИО.

И следом – множество подобных событий, благодаря униженной изворотливости – всё менее космических, всё более приземлённых.

На другой чаше весов – дом, а значит, любовь и совершенство. Все праздники, все каникулы, все выходные.

1964–1975. Ленинград. Друзья: Лев Айзенштат (лит. псевдоним Лев Дановский) и Валерий Черешня. Сын Артём (1971). Школа – электротехнический вуз – конструкторское бюро.

Исключительность существования сдаётся на милость посредственности.

Социальный инстинкт самосохранения. Повиновение, преодолевающее отвращение к учёбе-работе из жалости к родителям, из трусости быть не как все и от общей незрелости существа. Энергия, которой нечего сказать, и тщеславие, которое нечем утолить. По выражению Толстого: «путаница

требований жизни».

Если бы ноль мог ощутить свою пустоту и ужаснуться, то я бы назвал повторяющееся состояние этого времени сквозным ужасом нуля (всё, что умеет этот ужас, – поменять в слове «ноль» «о» на «у»). Что-то выдувает душу внутрь себя и – на холостом ходу – вон из жизни.

На чердаке завода, где проходит производственная практика школьников, мастер рассказывает о допусках и посадках. Тёмное зимнее ленинградское утро. И в этом сонном, пахнущем металлом цианистом царстве звучат, например, слова: «Завод выполняет план...» Что это значит?

Человек может вынести всё, кроме осознания бессмысленности своей жизни. В худшем и наиболее частом случае ему необходим успех, то есть ощущение своего превосходства над другими: нравственного или материального, не важно. Как подтверждение осмысленности. В лучшем случае ему необходимо переживание внутреннего роста, он должен время от времени восклицать: «Я всё понял!» или «Что-то мне приоткрылось!» – без претензий на внешнее проявление своего совершенства, зато, быть может, с ещё большей гордыней.

И первый и второй – случаи «игровые», не настоящие. Оба имеют в виду победоносную содержательность, которая, находясь во встречном движении к бессмыслице, противопоставляет себя ей, в то время как тонущий человек, спасаясь и обретая под ногами дно, движется именно ко

дну. Вообще, осознание бессмысленности должно стать настолько глубоким, чтобы перестать быть «осознанием». Если бы жизнь была тем, что человек о ней думает, она была бы невозможна. Жизнь живётся, а с окончательно разумной точки зрения – незачем ей житься. Стоит заодно добавить, что и поэзия – опровержение тщеты, потому что идёт против предвечных законов природы: против энтропии. Потому жизнь (и поэзия, в частности) – акт веры.

Один художник после многих лет работы сказал: «Наконец-то я разучился рисовать». Другой написал о том, как он рисует дерево: не только с натуры и на холсте, но и в воображении. Дерево продолжает в нём свою работу всегда. Первый в одном предложении поведал о своём рождении: он лишился «образа себя», чтобы стать собой. Второй сказал о том, что возобновление состояния «быть собой» никогда не прекращается. Это не игра: написал – забыл...

И дело не в стихах-живописи, можно ничего «рукотворного» не создавать, – дело в творчестве жизни, в «собираании себя»: не для обретения тяжёлых и неподвижных строительных смыслов, но для спасения внутреннего человека – «... и тогда такой человек восхищен и находится без сознания, ибо его цель – безумный и всё же имеющий смысл образ, или, другими словами, нечто разумное без образа» (Экхарт). Короче говоря: «Как будто я повис на собственных ресницах...»

Попытки понимания этих вещей совпали с уходом из кон-

структорского бюро в угольную котельную на наб. Мартынова, 36.

«Посвящение», приведённое ниже и написанное в 1975 году, надо понимать как инициацию: посвящение во что-то (а не кому-то). В нём вторично обретается (или заново рождается) то, чему случилось быть главными точками биографии. Оно длится по сей день, и это моя глава в книге, которая называется «В поисках утраченного времени».

1975 – to the present. Ленинград, с 90-х – Нью-Йорк и Санкт-Петербург. Жена Алла, дочь Мария (1978). Кочегарка, позже – среди прочего – преподавание русского языка. Смерти: отец (1991), мать (1998), Лев Давновский (2004).

Посвящение

Сон о пластинке, пастила, душа плаксива, осипла,
полночь у стола её скосила.

Сон о пластинке по челу. Болезнь желанна. На чердаки
свои лечу, в свои чуланы.

Там абажур, истлевший в прах, и лампа-филин, и чахнет
детский хлам в чехлах, и я всесилен.

Часы, туманность Андромеды, слова, как мозг,
воспалены, компрессы снега, нега, сны, ангина, привкус
мёда.

Рука папы просунута под одеяло – мгновенная прохлада,
тут же обнятая жаром.

Она давняя, знаю её очень давно.

Вертишься около, вокруг руки, пятка достигает
холодной воли.

Рука, как прилипший кленовый лист, распластана между
ключицами.

Устал, щурюсь на малиновое, теперь без движения,
только играю с малиновым, щурюсь.

Тело расслаблено, и я успокаиваюсь, паинька паинька
баюшки-баю

и снегом

засыпаемый

тихо засыпаю

Но уже с настоящим снегом.

Рука мамы не такая тёплая, потому что на улице.

Она бела, пахнет глицерином, молода.

Знаю, что меня ждёт. Урок музыки и – после.

И вот ступаешь по снегу, держась за руку.

Ступая, наслаждаешься податливостью его, под ногой он
не рассыпается, а упруго уступает. Коротко мурлычет. Он
обязательно идёт, снег, и – вечером.

Всё это происходит в пятницу, и не идёт, а с неба пятится.

Снежинки – воздушные гимнасты, захлестнуты ритмом
улицы и, свиваясь,
взмывают вверх.

За одной из них слежу и загадываю, что успею доследить её падение, успею, не замедляя шага, и если успею, то что-то случится, а что – не придумать. Она резко оставляет меня слева, оглядываюсь и так иду, хватаясь за руку всё сильнее. И пока фон стены тёмный, всё со мной и со мной, и вдруг тонет в белом рукоплескании витрины. Теперь вдоль железной ограды, за которой сад.

Он в редком огне.

Ограда, ограда, пытаюсь свободной рукой вести по каждому пруту, но рука отстаёт, мёрзнет. В карман. И тут – стена, сплошная стена дома, ни окна, и её расщепляет, как трещина, дерево.

Скоро уже, скоро.

Волнуясь, ты передаёшь руке, которую сжал, всю тревогу. Уже пахнет кислыми кошками и серые под ногами пятна. Серые с белым.

Теперь два шага, три – ровных, и в затылок сбегаются мурашки с предплечий и со спины. Тёмные, красные, полированные, красные, тёмные пятна.

Под подбородком щекотный шнурок.

Невыводимый запах нафталина.

Белый слон, белый слон, он напрасен, белый слон.

Белый слон расплывается, и мёртвая танцовщица полкой.

И ты подступаешь к чёрному роялю, и не выплакаться, и не успокоиться, до самой своей улицы, до запаха бубликов с маком, только выпеченных, на снегу запаха

поплыла
вместе
с

Весной – объятный воздух.

Вдох и взмах.

Весной, в тщательном
гольфах.

Весной, в мае, в ожидании лакомой прогулки.

Весной дышишь так, что жизнь нескончаема, – столь
светло и в таком
начале она.

Весной, в саду, тёплом от запаха верб, в трепетном саду.
В тебе, как в стеклянном колодце, колеблется синева
неба, и грудь дрожит,
как мембрана.

И вот ты выступаешь под окнами, за которыми
начинается воскресная
кухонная возня.

По кромке тротуара. Независимо. Чтоб никто не
догадался. Искоса.

И совсем уж искоса – вниз: не наступая на стыки
поребрика.

матросском
костюмчике,
отмытый,
в

белых

Из глубины гостиной пыль была как золото распила,
плыло пространство,
тихо было, мультипликационно пил ленивый кот-
домохозяин, и, обалдев,
под потолком зудела муха, и в таком
млении были стрекозиные стрелки ходиков —
ные зноем.

Запах щей. Щи в обмороке.

крылья мельницы, разморён-
Был день похож на решето, в муке и фартуке прислуги,
ни то, ни это, ни про

что, на тонком уровне разлуки.

Дрожал на кухне блёклый куб, дышали

тяжёлый круп, перебирала бусы ссора.

Не зная, чем себя занять, дыханье высылось и никло, и
сквозь рассеянность

в глаза текли какие-нибудь иглы.

Варилось в собственном соку весь день неясное волнение,
как будто тень без
утоленья тянуло время по песку.

жабры,
коридора темнел в
дверях

Послешкольные в чернильных пятнах руки.
Летний и скучный день похож на жаркую зевоту собаки.
Полдень.

Чуть позже приедет поливочная машина, и я побегу
перед ней,

радуясь.

Она расчешет, выпустив прозрачные когти, свалывшуюся
траву и уедет.

А я останусь.

Останусь я, сорву шиповник.

Просьпая белые зёрнышки его, двинусь в путь долгий и
утомимый.

Ни мысли в нём, и в жёлтой слепоте, венки из
одуванчиков сплетая,

в саду сонливым ангелом плутая, как отраженье в
мраморной плите

немного

К босым ступням просёлочной дороги прилив, прилавок
груш, неизреченность

как будто свежескошенной реки.

Ни осады осиною, спят шмели в джемперах, и дрожит над

росинкой летних

сумерек прах.

Мир так тих и просторен, что в его тишине слышно маковых зёрен созревание во сне. Щёлкнут ставни затвором, и окно, отворясь, задохнётся простором – и проникнет, как будто просветлясь на лету, утончённое утро в июньском цвету, и ещё не обнимет, но, скользнув по лицу, как капустаница, снимет с век дрожащих пылицу.

И вот прилив песка к босым ступням, как если бы пролился шёлк из складок ночной земли, жасмин, прохладно-сладок, то шевельнётся здесь листвою, то там. Вдоль полотна, вся в блёстках слюдяных, дорога, и лапта босого солнца, и день, разгораясь, уже несётся, и вдруг – река из лилий ледяных.

А в полдень тины сонный серпантин, мостки, полузатопленные ленью, и ход реки по щучьему веленью так неприметен и необратим.

Под вечер стада хмурое упорство, разматывают головы коровы вдоль улочки из ревеня и рёва и еле разбредаются. Всё просто. Расслабленный, ссылающийся словно на завтра – молока парного запах, округлый и сплошной, на тёплых лапах, и плавно оседающий на брёвна. Не торопиться. К шапочным разборам не поздно

никогда. Не торопиться.

Пока весь мир един и не дробится и миг не разворован разговором.

Дверь нашарь за Черниговом, спичкой чиркни, там начнётся твоё посвященье, где вокзальный плеврит, кочегары черны, вороватая глушь и свеченье белотелых, теряющих контуры хат, где летучие ветхие мыши на рассвете крушение крыл обратят в паутину под крышей, дверь нашарь за далёким дыханьем степей, в этой чёрной норе разгребая жар золы, этот воздух, который темней с каждым часом, где, перебивая тяжкий ритм шатуна, – белострочье реки – отголоском любви и свободы – среди груды горячих углей, кочерги, привокзальной тоски небосвода, отвори эту дверь, ты за ней родился, будь так добр или нежен, не знаю, что-то сделай, не знаю, так больше нельзя, говори, говори.

1975 г.

P. S.

Детство – это платоновские идеи – суть вещей, в их чистоте: к этой сути мы возвращаемся, встречаясь с вещами в их «грязном» виде в своей взрослости.

И если у нас есть совесть, то взрослая жизнь, понимаемая как успех, удаваться не может. Потому что отвлечься от подлинности не только невозможно, но и недальновидно. С чем же оставаться, если не с безусловным?

Другими словами, взрослость удаётся в той мере, в ка-

кой ей удаётся забыть жизнь или – что то же самое – забыть смерть. Такое забывание – гарантия прожиточного успеха. Или карьеры. Речь не о служебной лестнице, но об общей упитанности и сытой затуманенности взгляда. Тело заплывчиво, память забывчива.

Р. Р. S.

При каждом шаге вперёд за мной смыкается прошлое, но художественному оформлению (творчеству собирания себя) подвластно лишь время, которое не только смыкается, но и кристаллизуется, и его отделяет от сию секунду сомкнувшегося полуса «сырого», неосвоенного материала, того, до которого ещё доходит тепло моего существования, физически чересчур ему близкого.

Конец творчества произойдёт тогда, когда скорость кристаллизации превысит мою. Естественно, для этого моё тепло должно свестись к нулю.

Тогда биография закончится и начнётся БИО.

Декабрь 2006 г.

Стихи-I

«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...»

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости – точная бездна,
нещадная точность! но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

«Расширяясь течением реки, точно криком каким...»

Расширяясь течением реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещрённой
стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, ещё говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом...
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным – в силу безмыслия – духом.

Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,
пронося мою память, её разветвляя на жилы...
Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт:
обращённый к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишённое координаты,
оно – всё, оно – всюду, с ним время в сравнении – зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения – нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,

это значит, пробившись за контур, слилось существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.

«Бывали дни безмыслия, июль...»

Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно.
Бывали дни – не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставала,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
утишившая время до приметы.
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
вспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя...
Но человек, склонённый над столом,
не слышит, как стучит металлом
и мёртвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и всё его живое существо
втрое одарено одним мгновеньем:
июльским днём, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.

«Вот...»

Вот
и Нила разлив,
крокодильского Нила,
крокодильского Нила разлив.
На окраине Фив
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида, красиво,
очи полузакрыв.

Ты
прекрасна, ты миф,
одаряющий щедро
благодарные полосы нив.
Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского кедра,
слышишь арфы призыв?

Не
дожив до войны
(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,
я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гону
той змеиной волны,

волны, исподволь
абиссинскою кровью
гор увитой... Но так не неволь,
распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья,
и не сыпь эту соль!

И
бескрайний песок,
и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не мог
тебе верить, мой бог...
Моё сердце, пишу, не восстань на меня как свидетель
по ту сторону строк.

«Я тоже проходил сквозь этот страх...»

Я тоже проходил сквозь этот страх —
 раскрыв глаза,
 раскрыв глаза впотьмах, —
всех внутренностей, выгоравших за
 единый миг,

и становился как пустой тростник,
 пустой насквозь,
 пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос,
 я падал в ад,

точней – во тьму, иль в вашу Тиамат,
 не находя,
 где финиковый сад,
где друг умерший, где моё дитя,
 где солнца жар,

где ты, спускающийся в Сеннаар,
 где та река
 и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
 летучий дар.

Я этим жил на протяжении лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал
прижизненно, а зря или не зря —
поди измерь...

Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри – река,
смотри – над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!

1973–1980 гг.

Из цикла «шум земли»

«Потому что я смертен...»

Потому что я смертен. И в здоровом уме.
И колеблются души во тьме, и число их несметно.
Потому что мой разум прекращается разом.
Что насытит его, тем что скажет, что я не бездушен,
если сам он пребудет разрушен, —
эти капли дождя, светоносные соты?
это солнце, с востока на запад летя
и сторая бессонно?
Что мне скажет, что дождь — это дождь,
если мозг разбежится как дрожь?

Так беспамятствует, расщеплено, слово, бывшее Словом,
называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.

Для младенческих уст этот куст. Для младенческих глаз.
До того, как пришёл Иисус. До того, как Он спас.
Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут. Есть младенческий труд названья впервые.

Кто их создал, куда их ведут, кто такие?

Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,
я смотрю на того, кто я сам:
пальцы имеют длину, в основании пальцев – по валуну,
ногти, на каждом – страна восходящего солнца,
в венах блуждает голубизна.

Как мне видеть меня после смерти меня,
даже если душа вознесётся?

Этой ночью – не позже.

Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя
занавеску, пугая

шуршаньем, бумагу задевая, овеют дыханьем дитя.

Дитя шевельнёт губами.

Красный мяч лакированный – вот он круглит на полу.

А супруги, разлившись, лежат не в пыли, и пиджак
обнимает в

углу спинку стула, и масляет вилка на столе, и слетают
к столу

беспризорные звуки и мраки, и растут деревянные драки
веток в

комнате, словно в саду.

А бутылка вина – столкновение светящихся влаг и
вертящихся сфер,

и подруга пьяна, и слегка этот ветер ей благ – для объятий твоих,
например. Покосится страна и запаянный в ней интерьер.
Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных и вдох для достания
дна.

Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разобрать,
то подушка
висит чуть пониже трубы заводской, чуть повыше канавы.
Станет
холодно пуху в подушке. Спит гражданка уснувшей
державы, коченея
в клубочке, как сушка.
Ты пейзаж этот лучше закрой.

Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит
черномастных коней,
разбегающихся по тротуару.
Ночь реки, шарящей в темноте батарей, загоняет под
мост отару
золоторунных огней.
Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.
Ночь головного убора на голове манекена.
Ночь всего, что мгновенно.

Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве это не
точный
приют – пепелище? *Что* трагедия, если б не шут,

тарабанивший в днище?

Вот почему ты рвёшься за предмет, пусть он
одушевлён, – чтоб
нищенствовать.

Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.
Две смерти пережив – его и в нём свою, – не возвращай
земного лика
того, кто побеждён, как Эвридика. Для оборотней мёртв
его объём.

Лишь ты владеешь им, когда насквозь его прошёл, твои
края не те, где
нищенствуют вместе или врозь, – но нищенствуют в
полной нищете.

Здесь растают, нервы на разрыв испытывают,
ненависть вменив в
обязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из
пустоты лет
впереди.

Печальнейший мотив.

А более печального не жди.

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько
капель
пустырника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот, но
ещё, веселя,
по капле даётся, и вкусно сосётся печенье. И крылышки
моли из

шкапа летят, нафталя.

В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана
опущена душа левиафана, полночная душа его не спит.
Он с общим содержанием столь же слит, сколь форма его в мире
одинок, и, огибая континент с востока, – уходит, как чутьё ему велит.

И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.

И разум упорствует, сопротивоествуя тьме. Но тотчас, из хаоса
выхвачен самосознанием, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянию,
подобному небу, когда оно ближе к зиме.
Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей,
он расхищен
на страхи, любовь, покаянье, и нет ему выбора – только принять
умиранье всего, что он слышит, принять его в ясном уме.

«Я верил в бога Ра...»

Я верил в бога Ра,
я богоравным был,
пока в ладье я плыл,
пока сиял он дивно,
пока я неотрывно
весь день за ним следил.

Я был ребёнком, мир
мой бог мне даровал,
я жил, я ликовал,
и в той песчаной почве
мой мёртвый предок порчи,
спелёнутый, не знал.

И вдруг мой бог погас,
и стала жизнь темна,
и, не нащупав дна,
я побежал, безумясь,
в пески, где, как Анубис,
лежала ночь одна.

Там верховодил лев,
там царствовал орёл,
там друга я нашёл
земной надёжней тверди,
он спас меня от смерти
и сам её обрёл.

И вот с лица Земли

могучий друг исчез,
я землю рыл, я лез
за ним в земные недра,
но не нашёл, как ветра,
его ни там ни здесь.

И я пошёл бродить,
и я бродяжил век,
и увидал ночлег —
то некто шел из Ура,
был препоясан шкурой
овечьей человек.

И я пристал к нему,
и пас его стада,
и в поздний час, когда
стада и травы никнут,
я трижды был окликнут:
«Ты слышишь голос?» — «Да».

И духом я окреп,
и жертвенник возжёт,
и агнца я рассёк,
звезде падучей вторя,
и предо мною море
мне расстелил мой Бог.

«Так посещает жизнь, когда ступня снимает...»

Так посещает жизнь, когда ступня снимает
песчаный слепок дна,
так посещает жизнь, как кровь перемещает
вовне, и, солона,
волну теснит волна, как складки влажной туши
лилового и мощного слона,
распластанного заживо на суше,
и в долгий слух душа погружена,

так посещает жизнь, как посещает речь
немого, – не отвлечься, не отвлечь,
и глаз не отвести от посещения,
и если ей предписано истечь —
из сети жил уйти по истечение

дыхания, – сверкнув, как камбала,
пробитая охотником, на пекло
тащимая – сверкнула и поблекла, —
то чьей руки не только не избегла,
но дважды удостоена была
столь данная и отнятая жизнь.

Я Сущий есмь – вот тварь Твоя дрожит.

«Ляжем, дверь приоткроем...»

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идёт по косо́й,
веет горем, покоем
и песчаной косо́й,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
вея сонным Азовом
с Сивашом пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно приник.

«Проснувшись от страха, я слышал: он вывел меня...»

Проснувшись от страха, я слышал: он вывел меня
из ряда предметов, уравненных зимней луною,
ещё затихала иного волна бытия,

как будто в песке, несравненно омытом волною,

ещё возбегали в ту область её мураши,
нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,
и запечатлелась озёрная светлость души,
пока на окраинах доцокотали копытца,

причиною страха был ангел, припомненный из
ангины и игл, бенгальским осыпанных золотом,
и если продолжить, то чудные звуки неслись,
и створки горели, просвечены тонко гранатом,

и, женщина, ты —

из белого тела была ты составлена так,
как песня того, кто тебя бесконечно утратил,
тот лирик велик был и мной завоёванных благ
он более стоил, поэтому их и утратил,

он был вожаком, протрубившим начало поры,
когда с водопоем едины становятся звери,
и в джунглях у Ганга топочут слоны как миры,
и тени миров преломившись ложатся на двери,

и фермер Флориды следит, как порхающий прах
монарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,
своим атлантическим рейсом связует мой страх
с его стороною,

и запах был тот, что потом к этой жизни вернёт,

явившись случайно, явившись почти что некстати,
и свет, что так ярок, и страх, что внезапно берёт,
впервые горят над купаньем грудного дитяти.

1979–1981 гг.

«Назови взволнованностью земли...»

Валерию Черешне

Назови взволнованностью земли
караваном идущие по горизонту горы,
тем же, тем же покоем дышать вдали
от себя, темнеющий шаг нескорый,

восходящий к небу и нисходящий шаг,
книгочей, оторвавшийся от страницы,
так взволнован, но и спокоен так,
ни приблизиться не умея, ни отстраниться,

освещённое осени сумерек вещество,
царь, не знающий кто он, в своем убранстве,
так в игре водящий – мгновение – никого,
обернувшись, не ищет в пустом пространстве.

«ЧУДНОЙ ЖИЗНИ СТОЛЫ...»

Чудной жизни столы,
чудной жизни извилистой
не увидишь, сгорев до золы,
зелень, зелень сквози листвы,

лягушачий твой пульс
тонкой ветвью височною
замедляясь в согласных — «ветвлюсь» —
говорит и, высь точную

в гласных бегло явив,
нотной тенью пятнистую
по земле пробегает, прилив
света в запись втянись мою,

без остатка втянись,
чтоб не знали о пролитом
дне ушедшие намертво вниз,
чтоб не ведали боли там,

равной тленья крупиц
тяге — смерти перечашей —
тяге: зыблемый воздух границ
зреньем вспять пересечь ещё.

«О, вечереет, чернеет, звереет река...»

О, вечереет, чернеет, звереет река,
рвёт свои когти отсюда, болят берега,
осень за горло берёт и сжимает рука,
пуст гардероб, ни единого в нём номерка.

О, вечереет, сыреет платформа, сорит
урнами праха, короткие смерчи творит,
курит кассир, с пассажиркою поздней острит,
улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища
центры, в обширных, как скука, провалах плаща,
эта страна мне не в пору, с другого плеча,
впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве, поверхность почище, но тот же подбой,
та же истерика поезда, я не слепой,
лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.
Жизнь – это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,
дремлет старик, прохудившийся корпус креня,
то ли ребёнка замучила скрипкой родня,

то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

«Я возьму светящийся той зимы квадрат...»

Я возьму светящийся той зимы квадрат
(вроде фосфорного осколка
в чёрной комнате, где ночует ёлка),
непомерных для нашей зарплаты трат,
я возьму в слабеющей лампе бедный быт
(меж паркетинами иголка),
дольше нашего – только чувство долга,
Богом, радуйся горю, ты не забыт.

Близко, близко поднесу я к глазам окно
с крестовиной, упавшей тенью
на соседний дом, никогда забвенью
поглотить этот жёлтый свет не дано.
И лица твоего я увижу овал,
руку с лёгкой в изгибе ленью,
отстранившую книгу, – куда там чтенью,
подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,
торопящийся в свою роту,
подберу в подворотне, подобной гроту,
ледяное возьму я мерцанье глыб,
со вчера заваренный я возьму рассвет

в кухне... стало быть, на работу...
отоспимся, радость моя, в субботу,
долго нет её, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь
офицерской вполне шинелью,
и когда потянется к рукоделью
снег в кругах фонарей, и проснётся дочь,
испугавшись за нас, – помнишь пламенный труд
быть младенцем? – то, канителью
над её крахмальной склонясь постелью,
вдруг наступят праздники и всё спасут.

«Я посвящу тебе лестниц волчки...»

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с древа летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки, или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш,
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нём,
на два осколка разбившись, в зрачки
неба упавший объём,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.

«Остановка над дымной Невой...»

Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
чёрный холод зимы огневой —
за пустые труды мне,

хищно выгнут Елагин хребет,
фонари его дыбом,
за пустые труды этот бред
в уши вышептан рыбам,

за гранёный стакан на плаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву
в мерзкой слякоти мёрзкой,

то ль нагар на сыром фитиле,
то ли почва паскудна,
то ли небо сидит на игле
третий век беспробудно,

в порошок снеговой ли сотрут
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,
в ту трубу вылетававший,

или «нет» говори, или «да»,
Инеадой вдоль древа,
чёрной сваей за стёклами льда,
вбитой в грудь мою слева.

«Тому семнадцать, как хожу кругами...»

Тому семнадцать, как хожу кругами
вокруг постов своих сторожевых,
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землёй,
раскомканной, под воздухом бездонным
всё началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда, бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,
продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскалённых,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая

пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мёртвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развеявшим и конченным сейчас.

«Ранним, ранним утром бредётся...»

Ранним, ранним утром бредётся
то по снегу серому, то по лужам,
где, жена, мы с тобою служим? —
где придётся, помнится, где придётся,
кто бы мог подумать, что обернётся
худшее время жизни – лучшим.

С разводным ключом идёшь, теплоцентра
оператор ты или слесарь,
блиннолицый, помнится, правит цезарь,
и слова людей не янтарь и цедра;
с пищевыми отходами я таскаю вёдра;
память – как бы обратный цензор.

Тени, тени зябкие мы недосыпа,
февраля фиолетовые разводы
на домах, на небе, на лицах, своды
подворотни с лампочкой вроде всхлипа.
Память с мощью царя Эдипа
вдруг прозреет из слепоты исхода.

И тогда предметы, в неё толпою
хлынув – ёлки скелетик, осколок блюда,
рвань газеты, – в один сольются
световой поток – он казался тьмою

там, в соседстве с большой тюрьмой,
с ложью в ней правдолюбца, —

чтоб теперь нашлось ему примененье:
залатать сквозящие дыры окон
дня рассеянного, который соткан
из пропущенных (не в ушко) мгновений,
то, что есть, — по-видимому, и есть забвенье,
только будущему раскрытый кокон.

«Лучшее время – в потёмках...»

Лучшее время – в потёмках
утра, после ночной
смены, окно в потёках,
краткий уют ручной.

Вот остановка мира,
поршней его, цепей.
Лучшее место – квартира.
Крепкого чая попей.

Мне никто не поможет
жизнь свою превозмочь.
Лучшее, что я видел, —
это спящая дочь.

Лучшее, что я слышал, —
как сквозь сон говоришь:
«Ты кочегаркой пахнешь...» —
и наступает тишь.

Цапля

Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен

и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.

Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,

два крыла
расправив, – тяжело, определённо,
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, – и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумлённо.

«Я жил в чужих домах неприбранных...»

Вадиму Месяцу

Я жил в чужих домах неприбранных,
где лучше было свет гасить,
чем зажигать, и с этих выдранных
страниц мне некому грозить.

К тому же тех, что под обложкою
страниц, – и не было почти.
Ложился лунною дорожкой
свет ночи, сбившийся с пути,

свет ночи, пылью дома траченный,
ложился на пол, а прикрыв
глаза, я видел негра в прачечной —
он спал под блоковский мотив.

Казалось, сон ему не нравится,
а свет тем более не мил,
и если то, с чем надо справиться,
есть жизнь, то он не победил.

Я шёл испанскими кварталами,

где над верёвкой бельевой
и человеками усталыми
маячил мяч полуживой.

И в окнах фабрики, как водится —
полузаброшенной, закат
искал себя, чтобы удвоиться,
и уходил ни с чем назад.

Всё было выбито, измаяно.
Стояла Почта, дом без черт,
где я, как верный пёс – хозяина,
порой облизывал конверт.

В тех городках, где жить не следует,
где в жаркий полдень страховой
агент при галстукe обедает
с сотрудницей нероковой,

в тех городках, что лучше смотрятся
проездом, бегло, как дневник,
в который – любят в нём иль ссорятся —
не важно, – ты не слишком вник, —

чем становилось там дождливее,
тем неуверенней я знал,
что всё могло быть и счастливее.
Но не было, как я сказал.

Утренний мотив

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

льётся, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брючится,
блажь, мышь, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
клёш крыш клёш,
душу учит небо ведь
простирается сплошь.

1995–1997 гг.

Стихи памяти отца

1

Ночь. Туман невпродых.
И – лицом к октябрю —
надо прежде родных
исчезать, говорю.

Речь, которая есть
у людей, не берёт.
В большей степени весть
о тебе – этот крот.

Потому что он слеп.
Слепок чёрных глазниц.
В большей степени – степь.
Холод. Ночь без границ.

2

Узкий, коричневый, на два замка саквояж,

синие с белыми пуговицами кальсоны,
город, запаянный в шар с глицерином, вояж
в баню, суббота, зима и фонарь услезённый,

за руку, фауна булочной сдобная: гусь,
слон, бегемот, – по изюминке глаза на каждом,
то и случилось, чего я смертельно боюсь
там, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном,

то и случилось, и тот, кто привыкнуть помог
к жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, – столь же
к смерти поможет привыкнуть, я не одинок:
страшно сказать, но одним собеседником больше.

3

Я шлю тебе вдогонку город Сновск,
путей на стрелке быстрые разбеги,
хвостом от оводов тяжеловоз
отмахивается, на телеге

шагаловский с мешком мужик-еврей,
смесь русского с украинским и с идиш,
мишугинер побачит тех курей
и сопли разотрёт в слезах, подкидыш,

весь местечковый, рыжий, жаркий раж,
всю утварь роя, всё, чем мне казался
тот город, всю языческую блажь, —
египетский ли плен в крови сказался,

не знаю... Эту жизнь, которой нет,
которая мне собственной телесней
была, на ту ли тьму, на тот ли свет
я шлю тебе мой голос бесполезный,

как в Белгороде где-нибудь, схватив
в охапку свёрток груш, с толпой мешаясь,
под учащённый пульс-речитатив, —
ты отстаёшь, в размерах уменьшаясь,

и я иду к тебе, из темноты
тебя вернув, из немощи, из страха,
как блудный сын, с той разницей, что *ты*
прижат к моей груди как короб праха.

«Футбол на стадионе имени...»

Футбол на стадионе имени
Сергей Мироновича Кирова
второго стриженного синего
на стадионе мая миру мир

под небом бегло гофрированным
рядами полубоксы тыльные
левее ясно дышит море там
блистательно под корень спилено

на стадионе мая здравствует
флажки труду зато в бою легко
плакатом мимо государствует
бутылью с жигулёвским булькают

парада ДОСААФ равнением
идут руками всё размашистей
и вывернутым муравейником
меж секторов сползанье в чашу тел

потом замрёт и страшно высь течёт
над стадионом С. М. Кирова
удары пустоты стотысячной
второго стриженного миру мир

по узеньким в часы песочные
в застоле ускользают сумерки
до Дня Победы обесточено
извилиной сверкнёт лишь ум реки

«Из пустых коридоров мастики...»

Из пустых коридоров мастики,
солнцерыжих паркета полос,
из тик-така полудня, из тихих,
тише дыбом встающих волос,

сохлым запахом швабры протенной,
труховой мешковиной ведра,
с подоконника пьющих растений
вверх косяя фрамуги дыра,

перочисткой и слойкой в портфеле,
Александров под партой ползёт
к Симакову, который недели
через две от желтухи умрёт,

безъязыкие громы изъяты
горячо, и в продутых ушах
две глухие затычки из ваты,
и уроки труда на стежках,

и на солнце прозрачные вещи,
и пчела к георгину летит,
в вакуолях пространства трепещет,
слюдяное безмолвье слезит,

то, что вижу, – не зрение видит,
не к тому – из полуденных тоск —
сам себя подбирает эпитет
и лучом своим ломится в мозг.

«В георгина лепестки уставясь...»

В георгина лепестки уставясь,
шёлк китайский на краю газона,
слабоумия столбняк и завязь,
выпадение из жизни звона,

это вроде западанья клавиш,
музыки обрыв, когда педалью
звук нажатый замирает, вкладыш
в книгу безуханного с печалью,

дребезги стекла с периферии
зрения бутылочного, трепет
лески или марли малярия —
бабочки внутри лимонный лепет,

вдоль каникул нытиком скитайся,
вдруг цветком забудься нежно-тускло,
как воспоминанья шёлк китайский
узко ускользя, ольза, уско

«По коридорам тянет зверем...»

По коридорам тянет зверем,
древесной сыростью, опилками,
и – недоверьем —
дитя с височными прожилками,
и с лестниц чёрных
идут какие-то с носилками —
все в униформах.

Провоет сиплая сирена,
пожарная ли это, скорая,
пуста арена,
затылок паники за шторую
мелькнёт, и ярус
из темноты сорвётся своною
листвы на ярость.

Он не хотел на представленье,
оставь в покое неразумное
дитя, колени
его дрожат, и счастье шумное
разит рядами, —
как он, его не выношу, но я
зачем-то с вами.

Горят огни большого цирка,

прижмётся к рукаву доверчиво —
на ручках цыпки
(я плачу) – мальчик гуттаперчевый...
Скорей, в автобус,
обратно всё это разверчивай,
на мир не злобясь.

Они не знали, что творили:
канатоходцы ли под куполом
пути торили,
иль силачи с глазами глупыми
швыряли гири,
иль, оснежась, сверкали купами
деревья в мире.

«Поднимайся над долгоиграющим...»

Поднимайся над долгоиграющим,
над заезженным чёрным катком,
помянуть и воспеть этот рай, ещё
в детском горле застрявший комком,

эти – нагрубо краской замазанных
ламп сквозь ветви – павлиньи круги,
в пору казней и праздников массовых
ты родился для частной строки,

о, тепло своё в варежки выдыши,
чтоб из вечности глухонемой
голос матери в форточку, вынувший
душу, чистый услышать: «Домой!», —

и над чаем с вареньем из блюдечка
райских яблок, уставясь в одну
точку дрожи, склонись, чтобы будничным
выпить ужас и впасть в тишину.

«Тихим временем мать пролетает...»

Тихим временем мать пролетает,
стала скаредна, просит: верни,
наспех серые дыры латает,
да не брал я, не трогал, ни-ни,

вот я, сын твой, и здесь твои дщери,
инженеры их полумужья,
штукатурные трещины, щели,
я ни вилки не брал, ни ножа,

снится дверь, приоткрытая воров,
то ли сонного слуха слои,
то ли мать-воевода дозором
окликает владенья свои,

штопка пяток, на локти заплатки,
антресоли чулков барахла,
в боевом с этажерки порядке
снятся строем слоны мал мала,

ничего не разграблено, видишь,
бьёт хрусталь inferнальная дрожь,
пятясь за полночь из дому выйдешь
и уходишь, пока не уйдёшь.

«Птица копится и цельно...»

Птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в *на* небе она

облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной

в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху

«Это некто тычется там и мечется...»

Это некто тычется там и мечется,
в раковину, где умывается, мочится,
ищет курить, в серой пепельнице
пальцев следы оставляет, пялится, пятится,

это кому-то хворается там и хнычется,
ноют суставы, арбуза ночного хочется,
ноги его замирают, нашарив тапочки,
задники стоптаны, это сынок о папочке,

это арбузы дают из зелёных клеток, поди,
ядра, бухой бомбардир, в детском лепете
жизни, дождя – ухо льнёт подносящего
к хрусту, шуршит в освещении плащ его,

это любовью к кому-нибудь имярек томим,
всякое слово живое есть реквием,
словно бы глубоководную рек таим
тайну о смерти невидимой всплесками редкими,

где твои дочери, к зеркалу дочередь
кончилась, смылись, вернулись брюхатые, ночи ведь,
где твой сынок, от какой огрубевшие пяточки
девки уносит, это сынок о папочке

песню поёт, молитву поёт поминальную,
эй, атаман, оттоманку полутораспальную,
с ним на боку, хрипящим, потом завывшим,
имя сына перепутавшим с болью, забывшим.

«И одна сестра говорит я сдохну...»

и одна сестра говорит я сдохну
скорее чем кивая туда где мать
я смотри уже слепну глохну
и уходит её кормить

и другая кричит она тоже
человек подпоясывая халат
хоть и кости одни да кожа
доживи до её престарелых лет

доживёшь тут первая сквозь шипенье
и подносит к старушечьему рту
ложку вторая включает радиопенье
и ведёт по пыли трюмо черту

что кривишься боишься ли что отравим
что на тот боишься ли что отправим
Антигона стирает пыль
есть прямые обязанности мне её жаль

говорит Исмена хоть нанимай сиделку
тоже стоит немалых денег
причитая моет стоит тарелку
за границей вертится брат Полиник

ни письма от него ничего в помине
Антигона кричит и приносит судно
да-да-да да-да-да но о ком о сыне
мать их дакает будь неладна

иль о муже поди пойми тут
то заплачет рукой махнёт отвяжитесь
от Полиника пожелтый свиток
ей одна читает другая выносит жидкость

Аполлоном прочно же мы забыты
говорит одна вечереет и моет другая руки
и сменяет музу раздражённой заботы
Меланхолия муза скуки

потому что выцвести даже горю
удаётся со временем и на склоне
снится Исмене поездка к морю
и могила прибранная Антигоне

«Мать исчезла совершенно...»

Мать исчезла совершенно.
Умирает даже тот,
кто не думал совершенно,
что когда-нибудь умрёт.

Он рукой перебирает
одеяла смертный край,
так дитя перебирает
клавиши из края в край.

Человека на границах
представляют два слепых:
одного лицо в зарницах
узнаваний голубых,

по лицу другого тени
пробегают темноты.
Два слепых друг друга встретят
и на ощупь скажут: ты.

Он один теперь навеки,
потому что жизнь сошлась
на смерть в этом человеке,
целиком себя лишась.

Воскрешение матери

Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придёшь. Когда придёшь.
Обещали дождь. Дождь.

Купи на обратном пути
хлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.
Я что-то вкусненькое принесла.
Дотянем до второго числа.

Это на праздник. Зачем открыл.
Господи, что опять натворил.
Пошёл прочь. Пошёл прочь.
Мы с папочкой не спали всю ночь.

Как бегут дни. Дни. Застегни
верхнюю пуговицу. Они
толкают тебя на неверный путь.
Надо постричься. Грудь

вся нараспашку. Можно сойти с ума.
Что у нас – закрома?
Будь человеком. НЗ. БУ.
Не горбись. ЧП. ЦУ.

Надо в одно местечко.
Повесь на плечики.
Мне не нравится, как
ты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.

Не говори при нём.
Уже без пяти. Подъём. Подъём.
Стоило покупать рояль. Рояль.
Закаляйся как сталь.

Он меня вгонит в гроб. Гроб.
Дай-ка потрогать лоб. Лоб.
Не кури. Не губи
лёгкие. Не груби.

Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу – ты выпил.
Я же вижу – ты выпил. Сознайся. Ты
остаёшься один. Поливай цветы.

«Хочешь, всё переберу...»

Хочешь, всё переберу,
вечером начну – закончу
в рифму: стало быть, к утру.
Утончу, где надо тонче.

Муфта лисья и каракуль,
в ботах хлюпает вода,
мало видел, много плакал,
всё запомнил навсегда.

Заходи за мной пораньше,
никогда не умирай.
Не умрёшь? Не умирай же.
Нежных слов не умеряй.

Я термометр под мышкой
буду искренне держать,
под малиновою вспышкой
то дышать, то не дышать.

Человек оттуда родом,
где пчелиным лечат мёдом,
прижигают ранку йодом,
где на плечиках печаль,
а по праздникам хрусталь.

Что ты ищешь под комодом?
Бьют куранты. С Новым годом.
Жаль отца и маму жаль.

Хочешь, размотаю узел,
затянул – не развязать.
Сколько помню, слова трусил,
слова трусил не сказать.

Фонарей золоторунный
вечер, путь по снегу санный,
день продлённый, мир подлунный,
лов подлёдный, осиянный.

Ленка Зыкова. Каток.
Дрожь укутана в платок.

Помнишь, девочкой на взморье,
только-только после кори,
ты острижена под ноль
и стыдишься? Помнишь боль?

А потом приходят гости.
Вишни, яблони, хурма,
винограда грузны гроздья,
нет ни зависти, ни злости,
жизнь не в долг, а задарма.
После месяцев болезни
ты спускаешься к гостям —

что на свете бесполезней
счастья, узнанного там?

Чай с ореховым вареньем.
За прозрачной скорлупой
со своим стихотвореньем
кто-то тычется слепой.

Это, может быть, предвестье
нашей встречи зимним днём.
Человек бывает вместе.
Всё приму, а если двести
грамм – приму и в виде мести
смерть, задуманную в нём.

Наступает утро. Утро —
хочешь в рифму? – это мудро,
потому что можно лечь
и забыть родную речь.

Тема

Друг великолепий погод,
ранних бронетранспортёров в снегу,
рой под эту землю подкоп,
дай на солнце выплясать сапогу.

Зиждся, мальчик розовый,
мальчик огненный,
воздух примири с разовой
головой, в него вогнанной.

То стучат стучья комя вбок,
самозакаляясь железа гудит грань,
солono сквозь кожу идёт сок,
скоро-скоро уже зарычит брань:

Мне оторвало голову,
она летит *ядром*,
вон летит, *мордя*, —
о, чудный палиндром!

Пуля в сердце дождя,
в сердце голого.
Дождь на землю пал —
из земли в обратный путь задышал.

Мне оторвало голову,
она лежит в грязи,

в грязь влипая, мстит.

О, липкие стези!

О, мстихи, о, мутит,

о, бесполого.

Мылься, мысль, петлёй,

вошью вышейся или тлейся тлэй:

Я ножом истычу шею твою, как баклажан,
то отскакивая в жабью присядку, то
с оборотами балеруна протыкая вновь
и опять кроша твою, падаль, плоть.

Я втопчу лицо твоё, падаль, в грязь
и взобью два глаза: желтки зрачков и белки,
а расхрусты челюстей под каблуком
отзовутся радостью в моём животе:

Руки, вырванные с мясом
шерстикрылым богом Марсом,
руки по полю пошли,

руки, вырванные с мясом
шестирылым богом Марсом,
потрясают кулаками:
не шали!

Ноги ходят каблуками,
сухожилия клоками
трепыхаются в пыли,

ноги месят каблуками
пищеводы с языками,

во в евстахиевы трубы
вбито «Пли!».

Развяжитесь, лимфатические узлы,
провисай, гирлянда толстой кишки,
нерв блуждающий, блуждай, до золы
прогорайте, рваной плоти мешки.

Друг высокопарных ночей,
росчерков метеоритных, спрошу
я о стороне: ты на чьей? —
и одним плевком звезду погашу.

Эмигрантское

День окончен. Супермаркет,
мёртвым светом залитой.
Подворотня тьмою каркнет.
Ключ блеснёт незолотой.

То-то. Счастья не награбишь.
Разве выпадет в лото.
Это билдинг, это гарбидж,
это, в сущности, ничто.

Отопри свою квартиру.
Прислонись душой к стене.
Ты не нужен больше миру.
Рыбка плавает на дне.

Превращенье фрукта в овощ.
Середина ноября.
Кто-нибудь, приди на помощь,
дай нюхнуть нашатыря.

По тропинке проторённой —
раз, два, три, четыре, пять —
тихий, малоодарённый
человек уходит спать.

То ль Кармен какую режут
в эти поздние часы,
то ль, ворьё почуяв, брешут
припаркованные псы.

Край оборванный конверта.
Край, не обжитый тобой,
с завезённой из Пуэрто-
Рико музыкой тупой.

Спи, поэт, ты сам несносен.
Убаюкивай свой страх.
Это билдингская осень
в тёмно-бронксовых лесах.

Это птичка «фифти-фифти»
поутру поёт одна.
Это поднятая в лифте
нежилая желтизна.

Рванью полиэтилена
бес кружит по мостовой.
Жизнь конечна. Смерть нетленна.
Воздух дрожи мозговой.

Партитура Бронкса

Выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай-ка на газету мелочи

развелось в районе чёрной нечисти
ноют как перед дождём конечности
что здесь хорошо свобода личности

нет я вам скажу товарищи
что она такие варит щи
цвет хороший но немного старящий

он икру поставит чтоб могла жевать
каждый будет сам себе налаживать
я прямая не умею сглаживать

как ни встречу все наружу прелести
в пятницу смотрю пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

тихие деревья среди сволочи
в щях луч золотится солнечный
развелось в районе чёрной мелочи

нет я вам скажу от нечисти

я прямая разбрелись конечности
цвет хороший но немного личности

он икру поставит чтоб товарищи
как перед дождём такие варит щи
как ни встречу все наружу старящий

дети разбрелись но чтоб могла жевать
дай-ка на газету сам налаживать
что здесь хорошо умею сглаживать

выдвиньте меня наружу прелести
каждый будет сам пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

«В полях инстинкта, искренних, как щит...»

В полях инстинкта, искренних, как щит
ползущей черепахи, тот,
что сценами троянских битв расшит,
не щит, так свод,
землетрясеньем стиснутый, иль вид
исходных вод,

в полях секундных, заячьих, среди
не разума и не любви,
но жизни жаб, раздувшихся в груди,
травы в крови
расклёванной добычи впереди, —
живи, живи.

Часторастущий, тыщий, трущый глаз
прохожему осенний лес —
вот клёкот на его сквозной каркас
летит с небес,
вот некий профиль в нем полудивясь-
полуисчез.

Небесносенный, сенный, острый дух,
сыреющий, стоит в краях,

где розовый олень, являя слух,
в котором страх
с величием, предпочтёт одно из двух,
и значит – взмах

исчезновенья, как бы за экран,
сомкнувшийся за ним, и в нём
вся будущая кровь смертельных ран
горит огнём,
когда, горизонтально выгнув стан,
он станет сном.

Темнеет. Натянув на темя плед,
прощальный выпростает луч,
как пятку, солнце, и погаснет след
в развалах туч.
Рождай богов, сознание, им свет
ссужай, не мучь

себя, ты без богов не можешь – лги,
их щедро снарядив. Потом,
всесильные, вернут тебе долги
в тельце литом.
Трактуй змею, в шнуре её ни зги.
Или Содом.

Сознание, твой раб теперь богат,
с прогулки возвратясь и дар
последний обрета, пусть дом объят

(ужель пожар?)

сплошь пламенем, все умерли подряд,
и сам он стар.

Баллада по уходу

Шёл, шёл дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, наих,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

Муж в халате полураспахнутом,
то глазами хлопнет, то ахнет ртом,
прахом пахнет, мочой, ведром.

Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.
Сколько времени! – вот чего нас лишат:
золотушной армии тикающих мышат.

Сел в качалку полуоткрытый рот,
и парик отправился в спальный грот.
Тело к старости провоняет, потом умрёт.

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

То обхватит голову, то ковырнёт в ноздре,

пахом прахнет, мочой в ведре,
из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре.

Свесив уши пыльные, телефон молчит,
пересохший шнур за собой влачит,
на углу стола таракан торчит.

На портретах предки так выцвели, что уже
не по разу умерли, но по два уже,
из одной в другую смерть перешли уже.

Пой тоскливую песню, пой, а потом среди
надевай-ка ночи носок и себя ряди
в человеческое. Куда ты, старик? сиди.

Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,
он в поход собрался. Старик, zur sk!
Он забыл английский: немец, тебе каюк.

Schlecht, мой пекарь бывший, ты спёкся сам.
Для бардачных подвигов и внебрачных дам
не годишься, ухарь, не по годам.

Он ещё платочек повяжет на шею, но
вдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,
тянет, тянет, утягивает на дно.

Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,
чтоб присматривать, ним, ним, ним,

за одним из них, аноним.

Жизнь, в её завершении, хочет так,
чтобы я, свидетель и ей не враг,
ахнул – дескать, абсурд и мрак!

Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,
но уж раз напрашивается такой
вывод – делать его на кой?

Leben, Бог не задумал тебя *тобой*.

Одиночество в покипси

Какой-нибудь невзрачный бар.
Бильярдная. Гоняют шар.
Один из варваров в мишень
швыряет дротик. Зимний день.

По стенам хвойные венки.
На сердце тоненькой тоски
дрожит предпраздничный ледок.
Глоток вина. Ещё глоток.

Те двое, – в сущности, сырьё
для человечества, – сейчас
заплатят каждый за своё
и выйдут, в шкуры облачась.

Звезда хоккея порет чушь
по телевизору. Он муж
и посвящает гол семье.
Его фамилия Лемье.

Тебя? Конечно не виню.
Куда он смотрит? Впрочем, пусть
всё, что начертано в меню,
заучивает наизусть.

В раскопах будущей братвы
найдут залапанный предмет:
Евангелие от Жратвы —
гурманских рукописей бред.

И если расставаться, то
врагами, чтобы не жалеть.
Чтоб жалости не знать! Пальто!
Калоши! Зонтик! Умереть!

Мария Магдалина

Вот она идёт – вся выпуклая,
крашенная, а сама прямая,
груды высоко несёт, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и пряная.

Всё её захочет, даже изгородь,
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бёдрам липнет – что ни шаг её.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится, «сука, – шамкнет, – сука жаркая!».

Много я не видел, но десятка два
видел, под её порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шёпота их, стона, счастья потного.

Вот чего не помню – осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдёшь, хоть не захочется».

Я не понял слов его: мол, опыту
не дано любовь узнать – дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью – жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

Диптих

1

Две руки, как две реки,
так ребёнка обнимают,
словно бы в него впадают.
Очертания легки.

Лишь склонённость головы
над припухлостью младенца —
розовеет остров тельца
в складках тёмной синевы.

В детских ручках виноград,
миг себя сиюминутней,
два фруктовых среза — лютни
золотистых ангелят.

Утро раннее двоих
флорентийское находит,
виноград ещё не бродит
уксусом у губ Твоих.

Живописец, ты мне друг?

Не отнимешь винограда? —
и со дна всплывает взгляда
испытующий испуг.

2

Тук-тук-тук, молоток-молоточек,
чья-то белая держит платок,
кровь из трёх кровоточащих точек
размотает Его, как моток,

тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,
в брус зато хорошо, с вкушнотой,
всё увидеть, что есть, и оплакать
под восставшей Его высотой,

чей-то профиль горит в капюшоне,
под ребром, чуть колеблясь, копьё
застывает в заколотом стене,
и чернеет на бёдрах тряпье,

жизнь уходит, в себя удаляясь,
и, вертясь, как в воронке, за ней
исчезает, вином утоляясь,
многоротое счастье людей,

только что ещё конская грива
развевалась, на солнце блестя,
а теперь и она некрасива,
праздник кончен, тоскует дитя.

Распятие

Что ещё так может длиться,
ни на чём держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дождаться,

чтоб теперь, когда устало
ты и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.

Дерево

Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор
тебе (твоя отвязанность – свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,

встал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),

как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом

со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведённым на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.

«Тридцать первого утром...»

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та

ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуусобье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри —

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.

Вещь в двух частях

1

Обступим вещь как инобытие.
Кто ты, недышащая?
Твоё темьё,
твоё темьё, меня кольшущее.

Шумел-камышашее. Я не пил.
Всё истинное – незаконно.
А ты, мой падающий, где ты был,
снижающийся законно?

Где? В Падуе? В Капелле дель
Арена?
Во сне Иоакима синева ль
ты шёл смиренно?

Себя не знает вещь сама
и ждёт, когда я
бы выскочил весь из ума,
бывыскочил, в себе светая
быстрее, чем темнеет тьма.

Шарфа примененье нежное
озаряет мне мозги.
Город мой, зима кромешная,
не видать в окне ни зги.

Выйдем, шарф, укутай горло и
рот мой дышащий прикрой. —
Пламя воздуха прогорклое
с обмороженной корой

станет синевою надречною,
дальним отблеском строки,
в город высвободив встречную
смелость шарфа и руки.

«Я вотру декабрьский воздух в кожу...»

Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.

Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный;
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?

Заслезит глаза гружённый светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,

выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несёт в палату
и треску с поджаристой коркой,

сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, – слабость, бисер пота

полднем неопрятным и сонливым,

голубиный гул, вороний окрик,

глухо за окном идёт газета;

если хочешь, спи, смотри на коврик

с городом, где кончится всё это.

Художник

Анатолию Заславскому

1

С Колокольной трамвай накренится
к преступившему контуры дому.
Всё в наклоне вещей коренится,
в пронизательной тяге к разлому.

Там прозрачные люди плащами
полыхнут над асфальтовой лужей,
и, сомкнувшись у них за плечами,
воздух станет всей улицей уже,

и прикурит в привычном продроге
человек, на мгновенье пригодный
дар свободы от всех психологий
воспринять как художник свободный.

Кто сказал, что мир настоящий?
Да, темнело-светало,
но лишь неправильностью цветущей
можно поправить дело.

Видел я, как вращается шина,
видел дом кирпичный,
их уродство было бы совершенно,
если бы не мой взгляд невзрачный.

Я стою на краю тротуара
в декабрьском дне года,
слыша песню другого хора —
кривизною звука она богата.

Нет в ней чувств-умилений,
есть окурок, солнце, маляр в извёстке,
в драматичной плоскости линий
сухожилия-связки.

Воскресение

Это горестное
дерево древесное,
как крестная
весть весною.

Небо небесное,
цветка цветение,
пусть настигнет ясное
тебя видение.

Пусть ползёт в дневной
гусеница жаре,
в дремоте древней,
в горячей гари,

в кокон сухой
упрячет тело —
и ни слуха ни духа.
Пусть снаружи светло

так, чтоб не очнуться
было нельзя, —
бабочка пророчится,
двуглаза.

1991–2000 zz.

Запасные книжки

Часть первая: чередования

У Ходасевича: «...мне хочется сойти с ума...» – эти слова равны большинству жизненных ситуаций. Простота и максимальность выражения. Как у Пастернака: «Снег идёт, снег идёт...»

Почему что-то запоминается? Я слышу, например, несколько нелепых фраз из детства, совершенно незначительных. Почему запали именно эти клавиши? Помню мальчика Юру, восклицающего по поводу чьей-то реплики: «Вот сморозил!», – и учительницу, усиленно хвалящую его за неожиданное и точное слово...

Почему бывают мгновения, которые, кажется, запомнятся надолго, и почему нельзя при этом сказать близкому человеку: смотри, эта голая комната так освещена, эта железная сетка кровати, эта бутылка, которую мы только что распили в честь новоселья, эта сетка, эта бутылка, мы с тобой

(я на подоконнике, в пальто, ты в углу), яркая и безумная лампочка на скрученном шнуре, – так расположены, что мы запомним... Нельзя. Из боязни спугнуть ангела гармонии и отохотить его навсегда от своей памяти.

Чем отличается роман от малой формы? – автором: вступая в единоборство с тем, что его явно превосходит, он вынужден менять свою жизнь.

Когда переходишь трамвайные пути, чувствуешь, как мгновение назад тебя переехал трамвай.

Выступление делегатов съезда. Очевидно определяющее значение речи.

Речь (в чистом виде) – звук, колебания которого затухают во времени. Речь последующего реально забывает речь предыдущего, одерживая физическую победу. И ничего не происходит.



Неподалёку девушка с кофе. За её столиком, спиной ко мне, пара – он и она то и дело удобно ссутуливаются над чашечками. Смотрю на девушку – она обводит зал пустоватым взглядом: то ли равнодушно ждёт кого-то, то ли ей просто скучно...

Её соседи вскоре ушли, оставив на тарелке несколько скомканных бумажек и пирожное-трубочку. Девушка в очередной раз обвела зал своим бледным взглядом и спокойно переложила пирожное к себе в тарелку. И задумалась.

Подошла уборщица, стала протирать её столик тряпкой... Я отвлёкся, посмотрел в окно и поймал себя на том, что мгновение назад похолодел, подглядев эту сцену. Не от страха за девушку (ведь она могла встретиться глазами со мной и смутиться), не потому, что её действие было незаконно... Скорее, открылся нерв общей тоскливости этого дня, скользившего незаметно, ровно, бесцветно, как небо между голыми деревьями садика за окном. Особенно тоскливо, потому что окно ещё и мутновато отгораживало острый осенний воздух. И вдруг бесконечному однообразию потребовалось выражение, та запредельная нота, которая прервала бы незаметный ход дня и провалила бы его в недогоняемую, бездонную пропасть с головокружением и тошнотой. Не хотелось ни наступать, ни продлевать этот холодок. Поэтому я

вновь взглянул на девушку, её задумчивость исчезла вслед за уборщицей, и она с тем же спокойствием, с каким только что «объявила» тоску этого дня, доедала пирожное-трубочку.

У каждого города свои подмышки.

У Фолкнера – чёрная гармония (вроде чёрного юмора). Его упорство по достижению этой гармонии чуть ли не тупое. В том смысле, в каком может быть тупой последовательная мощь, верящая в себя, как в Бога.

Физиология объективна. В боли нельзя усомниться. Раз болит – болит, и нет вопроса, верят ли тебе. Физиология прозы, стиха – это то, что прожито животом, то, по чему идёт читатель, как собака по следу. В этих «физиологических» точках произведение смыкается с физиологией как таковой. Толчки мысли «Толстоевского» ощутимы. Вероятно, чем больше скручен страданием и болью автор и чем яснее он может их видеть, как бы последним усилием воли откач-

нувшись от них, – тем с большей внятностью он проталкивается сквозь тебя. (Известное: «Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Достоевский – Мережковскому.) У Чехова другой физиологический атлас, более доступный или приемлемый, как раз потому, что менее настырный. Вот в «Почте» он описывает студента после ночной осенней езды в тарантасе, на рассвете: «...Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которых проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернётся на другой бок, улыбнётся от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щёку, заснёт ещё крепче. Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде...» Не случайно мысль проникает за стены усадьбы, а затем «вскрывает» и пруд – то же проявление физиологической основы (недаром и Чехов – врач).

Это и свобода. Перо поспекает за воображением и доверяет ему. Доверчивость – следствие той самой, объективной для автора, «боли». Вот ещё несколько точек чеховского атласа:

«И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шёлк».

«В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение

тоски» («Огни»).

«...И теперь ещё, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шёлка и кружев – и больше ничего...» («Супруга»).

«...И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица <...> и ей даже казалось, что она нетвёрдо ступает на ту ногу, которую он поцеловал» («Три года»). «Но ничего не было так страшно для Якова, как варёный картофель в крови, на который он боялся наступить...» («Убийство»).

Это нервные узлы произведений. Это природа автора, т. е. то, что нельзя придумать, подобно восклицанию Ивана Дмитрича из «Палаты № 6»: «Радуюсь!» Вполне «достоевское» восклицание – напорыв из самого нутра.

Поэт Я. выглядел так, словно коллеги, здороваясь с ним, на протяжении многих лет пожимали ему лицо.

Говорит депутат: «Приходится много тратить времени, в том числе личного...»

Есть жизнь, текущая лишь в снах. Через год, два, три – вдруг снится сон, продолжающий другой сон. Эти люди, эти вещи, эти ситуации есть только *там*. Удивительно. Проснувшись, ты вспоминаешь, что уже видел этого человека, и – со странным чувством: тоже во сне.

Говорит соседка:

«Племени в касрульке...»

«Я стирала шлага, стирала на пижнаке твоём шлага... А она как было, как и есть...»

«Сотрясение мазок...»

У Фолкнера – не напряжение жизни, а напряжение чувственных точек (расположенных уникально, как и у всех прочих), которыми он воспринимает действительность. Но использование всех точек не дало бы напряжения. Фолкнер интуитивно отбирает лишь самые физиологические, самые отстоящие от нормальной жизни (благодаря чему – «раз-

ность потенциалов»).

Вообще, жизнь во всей полноте – лишена напряжения. Следует вырвать романом из неё кусок, чтобы её увидеть (конечно, уже искажённую), точнее – увидеть способ видения Фолкнера, расположение его извилин. Отстояние точек от нормальной жизни делает тем более привлекательным возврат к ней. В момент какого-нибудь страстного описания сказать, что «цвели глицинии» и т. д. Это раскачивание огромного маятника.

Фолкнер пишет субъективный эпос. То есть скорее эпос человеческой души, чем истории. Объём изображения (кроме маятника) создаёт ещё одна вещь: постоянные забеги вперёд (по времени) и отбегания назад, с недомолвками, постепенно обрастающими «домолвками» и т. д. Чисто пространственно это представляется так: Фолкнер растыкивает свою прозу наугад (как бы) вокруг себя в объёме шара – то ближе, то дальше, то повторяя движение по тому же радиусу, но в новую точку... – пока весь объём не забит до отказа. Тогда этот ком покатился... Герой тоже движется крупно. Мисс Роза («Авессалом, Авессалом!») замирает у двери (за которой убитый Бон) на несколько страниц. Один взмах руки может длиться несколько лет. Человек словно бы не живёт ежедневными мелочами, но, подчиняясь Року, копит их, слагает ради взрыва единой составляющей, которая указывает – куда в действительности были направлены «мелочи». Человек напряжённо ждёт, провидит себя между взрывами и

поэтому не рассыпается, крупен и целен. Он слит волей Рока и внутренней волей, ей подчинённой.

Из пункта А в Б в медленном трамвае можно добраться всё-таки значительно быстрее, чем поспешая пешком. Но это лишь в астрономическом времени. Психологическое время – ему обратно, и реальностью является именно оно. Торопясь пешком, я спокоен (хоть и опаздываю), в трамвае я психопат (хоть и успеваю). Если бы человек жил, не ведая астрономического времени, он бы и жил неведомо сколько. Психологическое время не есть срок, нервирующий и раздражающий, предписанный, оно не навязанная форма, а содержание существа. Короче говоря: абсолютное время, возможно, и форма материи (её разрывающая), но психологическое время, несомненно, содержание.

У Пушкина: «...вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа...» «Выше» отстоит от «столпа» на эту долготу задирания головы. Ай да Пушкин.

Узнав, что его другу плохо, в приливе сочувствия, К. написал ему письмо, и чуть ли не сразу его охватил стыд, чуть ли не с последним словом письма. Он боялся вникнуть – почему. Так случается, когда ответ растворён в твоём существе и просто не сформулирован, и знаешь, что малейшим усилием ты его можешь кристаллизовать, но медлишь. И вот, накатывая, как волна... как волна, омывающая всё больший кусочек суши, ответ проступает и останавливает внутреннее бегство стыда. Всё ясно – письмо с неточной интонацией. Всего лишь? О, этого достаточно, чтобы свести счёты с жизнью. К. мучается, его не утешает, что друг, зная то же самое по себе, сделает скидку, а то и вовсе постарается не обратить на это внимания.

Чётные числа чем-то хуже нечётных.

Перечисления. Гоголь доводит их до необычайного. Идёт накопление более или менее скучного количества, которое

взрывается новым качеством (как правило, в юмор). Лирическое отступление о дверях, о том, как какая дверь скрипит, заканчивается: «...но та, которая была в сенях, издавала какой-то <...> звук, так что <...> очень ясно, наконец, слышалось: “Батюшки, я зябну!”...» Пустой тупик диалогов, этот абсурдный юмор, вроде того колеса, которое докатится или не докатится до Москвы... – тоскливое открытие.

– Я сам думаю пойти на войну; почему же я не могу идти на войну?

– Вот уж и пошёл! – прерывала его Пульхерия Ивановна. – Вы не верьте ему, – говорила она, обращаясь к гостю, – где уж ему... Его первый солдат застрелит...

– Что ж, – говорил Афанасий Иванович, – и я его застрелю.

Хармс читал Гоголя, не так ли? Но Гоголь имел в виду не только Хармса. Аф. Ив. плачет, вспоминая жену через пять лет, и автор видит «слёзы, которые текли <...> накапливаясь от едкости боли уже охладевшего сердца». Плотное платоновское проталкивание в точность.

В школу, где я учился, привели Достоевского. Двое под руки вели мертвеца. Труп не шёл, а как-то вываливался из их рук вперёд, а те с трудом направляли его в двери классов. С закатившимися глазами и чёрным, одновременно впалым

и шишковатым лицом, Достоевский наводил на учащихся ужас – от него шарахались. Потом, однако, я понял, что у него был припадок. Я понял это, увидев его чуть позже выходящим из школы. Всё так же под руки его вели двое, но сам Достоевский шёл мёртво-спокойной походкой, лицо его было пухлым и припудренным, припадок закончился... Но это уже был труп настоящий...

А. Белый. «Петербург».

Холод. Всё сведено к нулю. Как в этом куске:

«Аполлон Аполлонович подошёл к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка. И головки там в окнах пропали». 1-я и 4-я строки, описывающие действие в противоположных домах, имеют равное количество слов; то же происходит и по обе стороны от слов «против себя».

В абсолютной симметрии абсолютной. В сказался отец-математик сказался симметрии

Иногда с удовольствием читаешь слабые стихи. Иногда

полная беспомощность роднее олимпийского умения, силы и пр. Всё равно что посмотреть телевизор.

Культура прошлого хороша тем, что не устраивает тебе семейного скандала.

Культуры настоящего нет. Есть сплошной скандал.

Письма Николая Григорьевича, механика, моего сослуживца, – Гале, милиционерше, матери-одиночке, периодически охранявшей здание архива, где мы работали. Николай Григорьевич был безответно в неё влюблён. Последнее письмо написано, конечно, им же, но от имени неведомого В. Лаптева.

Орфография и пунктуация – Николая Григорьевича.

1

Галя! Я тебе всегда хотел только хорошего в жизни, и сейчас желаю всего хорошего, хорошо отдохнуть, набраться здоровья. Я на тебя грязь не лил, и этого не будет никогда. Как бы мне не было трудно, тяжело. Грязь идет от Чесноковой.

Болтай с ней больше, она у тебя всё выпытает. Ты *простая*. Сейчас все люди злые и смотрят, как бы устроить зло другому. Ты мне много делала зла, а я делал и буду делать только хорошее. Ты уже перестала понимать что такое зло, что добро, не различаешь чёрное от белого. А в жизни надо различать. Неужели ты в себя потеряла веру, что никто не полюбит, никто со мной жить не будет, и я не выйду замуж. Ты говоришь будешь жить одна. Одной жить невозможно. За жизнь надо бороться, а не идти по течению жизни. Скука, жизнь убивает человека. Так делать нельзя: понравился я и идём. Даже надо выбирать друзей и подруг. С кем поведёшься того и наберёшься. Что говорить жизнь есть жизнь. Но, а этот поступок выходит за все пределы. Ты потеряла свою голову, потеряла рассудок, потеряла ум. С кем ты связалась. У него жена, которую он очень хвалит, у него двое детей, которых он любит. Вот мой разговор с Олей-уборщицей, которая убирает твой коридор. – Оля, как ты смотришь на эти сплетни? – Да, я слыхала. Конечно, не наше дело, у каждого своя голова на плечах. – Я считаю, Галя перестала уважать себя, Галя перестала любить себя и можно сказать она не хочет жить. Оля говорит: я этого Серёжу, хоть он и более красив, я его ненавижу. Он нахальный грубый идиот. Я с ним вместе поссать не сяду. Про Галю я и верю и нет. Конечно, по его поведению и разговору можно и поверить. Я спрашиваю: наверно, Галю смутили кролики, наверно наелась кроликов. Оля отвечает: дядя Коля, от этого жадюги

не дождёшься не только кролика, у него соли не выпросишь, он жаден. Что заставило Галю с ним связаться, не пойму. Да, Галя, у меня у самого такие мысли: что тебя заставило с ним связаться? Сильно жизнь принудила. У тебя был не плохой выход. Ты говорила: дядя Коля, приходи. Я пришёл поговорить. Ты меня оскорбила. Что с тобой связываться. Не добавила: я с механиком связана. Мне кажется прошло немного и всё раскрылось. Я тайну любую пронесу всю жизнь. Я не буду краснеть как рак. Большой слюнтяй твой Серёжа. Галя, я с Олей, Раей говорил, чтобы дальше нас никуда не разошлось. Думаю дальше не разойдётся. Я тебе плохого не хочу. Тебя накажет сам бог. Напиши хоть пару слов, если будешь рядом. Заходи.

2

Галю, Юлочку и маму поздравляю с праздником Нового 1984 года. Желаю всем хорошего настроения. Самого крепкого здоровья. Гале желаю в Новом году выдти замуж. Желает кусок заразы, дикий крокодил.

3

Галя! Здравствуйте. Не хотели Вас беспокоить до Нового года. Знаем, что и сейчас Вы не совсем здоровы. Извините,

что адрес Ваш узнали у дежурного по дивизиону. Во время твоей болезни эти сволочи шептались на кухне – Байкеев, Чекмарёва, Марина, Таня-татарка, с ними Чеснокова. И сейчас эти «люди» тебя окружают. Что они ещё хотят? Устроить посмешище? Или вызывают тебя на публичное оскорбление. Что нам известно: Сотсков поделился с Тишиным, Тишин с Инной, со всеми женщинами Байкеев в дружбе. Он подхватил и разнёс по всему архиву. Даже разнёс, что Николай Григорьевич тебе звонит. Николая Григорьевича мы считаем добрым, хорошим человеком. Не думаем, чтобы он делал кому-то плохое. Галя, пойми, кто тебе льстит, кто хочет хорошего. Да и ты умная женщина, всё понимаешь. Не давай этим паразитам вести себя за повод. Что было, то было, может и побаловалась. Лучше всё кончить и послать всех – и Сотскова, и Байкеева на хер. Такая жизнь до хорошего не доведёт. А если ты с ним пойдёшь – берегись. Они пытаются уволить Николая Григорьевича – дело Байкеева отомстить. Будь во всём осторожна. Извини за беспокойство.

В. Лаптев

Голос в автобусе: «Женщины выносливее мужчин по выносливости!»

Аристократ *владеет* тайной (речь не о происхождении; хотя слишком часто это связано – ведь история рода, хранящая его продолжателями, постепенно уходит в тайну, становится таинственным припоминанием) и *являет* её (в искусстве, например).

Разночинец *знает* о тайне и её *провозглашает* (а мог бы – разгласил).

В этом суть и истоки идеологического искусства, вообще идеологии, а именно: животной, лишённой тайны, жизни.

«Культура – способность удержания тайны».

Иногда взрослый, много страдавший человек всё равно идиот.

Стоит ли провести жизнь в вечном недовольстве собой? Если любовь – это дар, который удерживают немногие, то, по крайней мере, разум – привилегия большинства. Разум говорит просто: не убивай, не прелюбодействуй, не кради и т.

д. Жизнь в разуме – непрерывное внимание, выполнены ли его требования. И вот когда он терпит поражение, ему остаётся последний спасительный ход: увести своего обладателя от людей (и значит – от проявления нелюбви, «забыть» свою нелюбовь). Монашество может начинаться не с любви к Богу, а с нелюбви к людям. Это разумное безрадостное монашество, которое, вероятно, не выдерживает слишком тяжёлых испытаний, но всё же это путь героев, которым надежда на просветление маячит, путь, где изнурением плоти, кажется, можно потрясти и преобразовать свою духовную основу и возродить её для любви.

Человека можно охарактеризовать коротко.

Ч. попросил своего друга, летящего в другой город, передать важное письмо, от которого зависела карьера Ч. Получив известие об авиакатастрофе и гибели друга, Ч. подумал: «Боже! Моё письмо!» – и только потом попытался устыдиться этой мысли.

У неё не тело, а полный Кранах.

Основа писательства – трезвость. Средства быть совершенно «пьяные».

достижения, однако, могут Очень точно применимы к этому размышления князя Мышкина перед припадком: «Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец, – какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, даёт неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни?»

Шарф «Айседора».

У него такая интонация... Что бы он ни сказал, какая бы это ни была резкость – он никогда не обидит. Он говорит, растягивая слова, словно испытывает их мягкость. Вогнутой

интонацией он как бы пытается снять их шершавость. Иногда мне кажется, что в нём одном жестокость выглядит как мягкая уклончивость и что только много страдающий человек обладает такой честной и точной приспособляемостью.

Достоевский близок двадцатилетним. Пушкин «старше».

Достоевский описывает бездну, познаёт её. Пушкин – уже знает, подразумевает, незачем описывать. (То самое – аристократическое и различное – сознание.)

Нет ничего жальче и обиднее подлинного чувства, которое хочет, но не умеет себя выразить. «О, как ты обидна и недаровита...»

Этот фильм – видение режиссера. Свойство видения – его абсолютность, или абсолютная закономерность, притом что движение закона – непредсказуемо. Просто подчиняешься ему, но сказать, в чём он состоит, – невозможно. И даже любящая символическая трактовка всё более затемняет дело, свя-

зи рушатся.

Но как отказаться от понимания, от расшифровки, как не убить закон? Могу я *смотреть и видеть*? Это видение подобно человеку, который не может никому объяснить феноменальность своей жизни: он жив, он *сейчас и это*. Но он отделён оболочкой, и за неё не пробиться. Это видение подобно картинам детства – горящим шарам памяти. Любая баснословность происходящего *там* – неувидительна, закономерна, я могу ей полностью довериться.

Это видение (как сон) со своим законом.

Можно ли сказать о человеке (или о пейзаже) что-нибудь одно? Или два? Можно сказать сто, но это не лучше, чем одно. Сто рассыпется на единицы. И только видение стремится бесконечный ряд к пределу. Точнее: это тот предел, который раскручивается в бесконечность человека, пейзажа и т. д.

Бессонница. Гарем. Тугие тела.

Плохое государство меня грабит, чтобы надругаться, хорошее — чтобы облагодетельствовать.

Если человеку за тридцать, а он всё ещё авангардист (модернист, концептуалист и пр. -ист), то это уже признак слабоумия.

Монолог одного художника:

«Живописец ежеминутно отказывается от эксплуатации приёма, им же найденного, то есть от того, чем несомненно может угодить зрителю, то есть от таланта, по сути дела. Это приводит, как правило, к нулевому результату, и мы можем судить лишь о степени отказа художника от себя, о тех, извините, жертвах, которые он принёс... Но как об этом судить, если мы видим ничто, самого художника, слава богу, не знаем и процесс работы от нас скрыт? Степень отказа может знать лишь он сам. Поэтому так нелепы и безответственны оценки (“бездарно”, “гениально” и пр.). Мы проставляем их, когда ничего не понимаем, но хотим уважить себя любовью к художнику. На самом деле он к картине отношения уже не имеет. Всё, что он мог: отказаться от лёгкой добычи, – он сделал. И это чистая случайность, что работа, в которой всё – отказ, одарена чем-то, что удерживает нас рядом с ней, и

художнику тут гордиться нечем».

Автор фильма словно нарушает любую возможно-логическую версию. Не сразу, а лишь когда версия уже ветвится. Едва намечаешь ход понимания – шаг, ещё шаг, едва путь затягивает, как ты всё менее уверен, всё больше вариантов, что-то спутывается, ясности нет и, наконец, остановка. Куда идти дальше? Зачем идти, если разгадка – всего лишь развёртка объёма, лишённая жизни?

Напечатайте эту книгу. Можете вымарать Просто – всё. Книга хуже не станет. всё, что вам не нравится.

Если есть зебры, почему бы не быть арбузам?

Когда Пушкин воскликнул: «Ай да сукин кот!», закончив «Бориса Годунова», когда Блок записал: «Сегодня я ге», за-

кончив «Двенадцать», – я думаю, они испытывали одно и то же. Внутренний толчок завершения. Произошла чужнь, образовалось жидо. Эти вещи похожи в главном – в явной гармонии. Вдруг всё уравновешено и замкнуто, гоголевский «Нос» пошёл гулять сам по себе... Поэтому, например, «Двенадцать» идеологи могут понимать как произведение советское или антисоветское и т. д. – лишь по причине невероятности, невозможности идеологического взгляда на поэму... («Поэзия выше нравственности». Пушкин плюс Блок – блошкин пук.)

В отличие от собрания, человек не состоялся.

Обычный (талантливый) человек притворяется равным всем, хотя он никому не равен. Он не хочет упрёка в оригинальничанье, не хочет раздражать. Это сиюминутное, немужественное человеколюбие пошлости. Но вот гений – сплошные странности (хотя и *очевидные* странности – мыто все узнали себя в нём, потому и оценили). Гений – разновидность сумасшедшего, он не соотносится с окружающим. Он жесток. Возможно, он нравственная категория.



Человек у Достоевского – существо, которое мыслит назло. Назло себе, назло предыдущей своей мысли. Отсюда – бесконечное вкапывание себя.

Это в высшей степени «умышленное» существо.

Грех по Д. – поле для испытания человека, тем более удобное, что бесконечное. Человек у него не просто грешен, но утверждает: да, да, грешен, да, да, низок, и паду ещё ниже, и буду ещё грешнее, так что уж испытаю наслаждение от своей мерзости – ведь не дам себя унижить ни раскаянием, ни вашим прощением, это было бы уже ограничением меня, некая ко мне жалость... Так вот, самоутверждаясь в грехе, человек Д-го делает поле греха растущим в прогрессии взаимно отражающихся зеркал – и, стало быть, безграничным. На другом полюсе – человек (князь Мышкин, Алёша), который в великой любви страдает за последнего преступника. «Величина» его любви (и непременно вины) пропорциональна безграничности преступления. (В чём вина? Не в том ли, что он *видит* преступление как преступление? То есть осмеливается хотя бы на секунду *судить*?)

И всё же любовь (в отличие от греха) не безгранична. Видя самоё себя, она склонна непрестанно корить себя в недостаточности. Любовь в самооценке (а куда деться от разума-оценщика?), в отличие от греха, не самоутверждается, –

наоборот, видит, что ущербна в своей оглядке. В системе взаимно отражающихся зеркал она тает, а грех множится.

То есть грех, поскольку он целиком в системе человеческих координат, абсолютен, а любовь, захватывающая и недостижимую для человека область, относительна. Но если она не бесконечна, то сразу – мала.

Но ни тот ни другая (грех, любовь) *не* свободны. Свобода – это спонтанность, когда проблемы выбора нет, есть – совершаемый выбор. Человек же страдающий (грешный, любящий ли) всегда мыслит, всегда в проблеме, всегда сомневается, – и таков он у Д-го.

Поэтические открытия в слове. Берётся длиннейший, порой неуклюжий, разбег каким-нибудь монологом, и вдруг выборматывается или выкрикивается весь характер или всё состояние разом: «Будьте уверены, благодущнейший, искреннейший и благороднейший князь, – вскричал Лебедев в решительном вдохновении, – будьте уверены, что сие умрёт в моём благороднейшем сердце! *Тихими стопами-с, вместе!*

Тихими стопами-с, вместе!..»

Характерно и обстоятельство «в решительном вдохновении». Герой Д-го то и дело взвинчивается до «решительного вдохновения», иначе он автору, в сущности, неинтересен.

Из размышлений критика: ирония бальзамирует тело сти-

ха.

Торжества, посвящённые 100-летию А. А. Ахматовой.

Торжествующих представляют три лагеря:

1 – государственно торжествующие в Колонном зале (или где там ещё);

2 – хладнокровные литературоведы с открытиями;

3 – торжествующие с оговорками: очень уж боятся они торжеств, – мол, Ахматовой бы это не понравилось;

О. по поводу моей градации заметил: «Третьи и являют суть интеллигента с его отвратительной рефлексией. Боязнь пошлости, не способная пошлости избежать».

Некто, пьющий пиво воскресным утром... И если над краешком кружки (глоток – вниз, взгляд – вверх) – бледный, непроставшийся пейзаж новостроек с самолётом, набирающим высоту, то «рухнул бы он, что ли» – неперемнная мысль Н.

Можно бы написать новое стихотворение, но я не знаю слов.

Есть простые числа, сложение которых вызывает некоторое затруднение.

Например, 8 и 6. Всякий раз совершенно не очевидно, что это 14. Вообще, все три числа выглядят неубедительно.

Тайна соразмерности «Крошки Цахес» заключена в том, что «крошка» как пикантная фантазия не вызывает отвращения. Нам доступно то внутреннее душевное напряжение Гофмана, возникшее из двух нервно-улыбчивых, уравновешенных сил: я делаю крошку отвратительным и знаю, что он таковым не станет. Я заманиваю вас в социальную сатиру, допустим, но тут же одурачиваю податливую, наивную, вашу праведную душу.

(Это ли романтизм? – разоблачение любой собственной идеи, так что только тоненькие ножки её торчат из серебра-

ного горшка...) Гармония – это такой тайный объём произведения, в котором время свободно играет намерением автора, выворачивая его порой наизнанку (без ущерба для цельности). Мы не можем в точности вычислить этот объём, но можем уследить, в какие дыры он утекает.

Существует лишняя гениальность. Например, А. Белый.

Культура умирает не вообще, а отдельно. Подъём бывает не всюду, а в душе.

Вынужденная любовь к Хлебникову.

Гоголь в «Старосветских помещиках» пишет: «...И мысли в нём не бродили, но исчезали».

В Аф. Ив. исчезало то, что не успевало появиться. Взятое удивительное психофизическое состояние. Причём улов-

лено оно лингвистически, помимо Гоголя. Здесь автор, притянутый выпрыгнувшим из него словом, и сам поднимается выше, пытаясь его настичь. То есть слово не только сокращает расстояние до смысла, не только опережает мысль, но и находит другой смысл, новый и неожиданный для автора. Это природа наращивания вдохновения.

Вся бухгалтерия уехала на похороны. Умер Карлуша – человек, которого неделю назад я видел. Ожидая кассира, я вспомнил живую и наглуую кривизну Карлушиных ног – они совершенно не были готовы к смерти. Я ждал на катке, ещё не залитом и покрытом первым мокрым снегом.

Приехал автобус, из него вышли бледные женщины и, расположившись полукругом, принялись дышать. Их мутило после похорон и долгого автобуса. И всё же не настолько, чтобы не обсудить и не высказать мнение. Доносились обрывки фраз: «...это его сестра... а вы видели... да... совсем плоха» и т. д. Затем они пошли в небольшой двухэтажный дом, где размещалась бухгалтерия. Я пошёл следом. Открылось окошко кассы, и в нём появилась мордочка молодой чернобурой лисички с двумя-тремя золотыми зубками. Лисичка на похороны не ездила. Сейчас она искала ведомость с моей фамилией. Ко мне подошла бухгалтер, и мы о чём-то заговорили. Лисичка высунула мордочку, подала ведомость

и весело подмигнула бухгалтеру – женщине немолодой, с довольно измученным, заплаканным лицом: «Как вы там... насчёт этого дела?» – «Насчёт чего?» – «По сколько скидываетесь? Возьмите и за меня». – «А-а-а... Вы тоже?» – «Я всегда. Я люблю это дело», – и кассир показала пальчиком, что она всегда любит выпить. Бухгалтер, кажется, была смущена, что её втягивают в такую легкомысленную болтовню, и растерянно и вяло что-то ответила.

«Здесь всё меня переживёт...» (Ахматова) – стихи из глубокого и спокойного раздумья. Стихи с осанкой. Как правило, у стихов походка.

Жизнь можно не заметить – провести всю в кайфе, или в хамстве, или в идее. Что же истинное? Остановка, ничто.

Жизнь как игра существует в злодействе, пошлости и т. д. Человек говорит пошлости, как бы пародируя пошляков. На протяжении всей жизни он может не забывать о том, что

пародирует. А может забыть.

Злодейство – это гримасы заигравшихся перед зеркалом детей.

В магазин, где я работаю грузчиком, приходят люди с чёрного хода. Как хозяйева похожи на своих собак, так эти люди похожи на ветчину, сосиски и пр. – они уносят в пухлых руках тяжёлые сумки. Но всю эту сложную, потную жизнь они ведут, я уверен, не из любви к нежному мясу. Они, как дети, жаждут похвалы своих близких, и удивления, и благодарности за их всемогущество.

Заладили: трагический поэт, трагический поэт... А какой же ещё – комический, что ли?

Похвалы детям так расточительны – ведь ребёнок взрослому не соперник.

Осень с Гофманом

Ветер разверзнет карманную пропасть,
к фалдам пришьёт фатоватую лопасть,
то ли жуки золотистые, то ли
стайкой зелёной летят си-бемоли,

ах, за ведьмой, ведьмой прахом со скамейки
полетели, поблестели блики-змейки,

корчатся, торкаясь, бесы строки,
мелкие заболтни, выклики, зги,

вкупе, в кукольные земли
улетают фабианы-павианы и ансельмы,
разве нам их удержать, споткнёшься с грохотом
и рассыпешься на ножки грустным гофманом.

Мысль о смерти есть духовный онанизм.

Рассуждение человека с вогнутой интонацией в связи с философией хуаянь: «Истинное бытие, незыблемое (Бог), противоположное ирреальному бытию (картины, в картине), через которое оно проявляется и обнаруживает себя. (Нереальное бытие – это окружающий нас предметный мир, в частности – картина.) Картина тем “лучше”, чем явственней “дыры”, в которых сквозит незыблемое. Чем явственнее её (картины) условность. Истинное бытие и картина друг в друге нуждаются, друг без друга не существуют. Истинному бытию негде больше проявиться – только здесь. Истина (“ли”) – основа и сущность всех вещей, это мир, лежащий в основе всех явлений. Это пустота. Пустота существует в виде явлений, не отождествляется с ними, но и не отличается от них. Явление внешнего мира – это формы (картины) – “ши”. Пустота не существует сама по себе. Её существование возможно только через определённую форму. Поэтому у неё нет собственных внешних свойств. Она как бы облачается в форму. Пустота и форма неотделимы друг от друга.

Допустим: краски – “ли”, изображённый лес – “ши”; краски не имеют своей собственной постоянной формы; благодаря работе мастера, из них получается изображённый лес; но никакого леса (реального) перед нами нет; если что здесь и есть, то – краски. Поэтому изображение леса – пустота.

То есть пустота не имеет собственной формы, а может существовать лишь в виде других форм. Вот почему она не мешает иллюзорному существованию вещей. Почему картина *необходима*? Потому что она *объявляет* иллюзорность. Она – вдвойне нереальный лес, и поэтому – вдвойне проявленная пустота (суть, Бог, “ли”). Картина всей своей условностью как бы оттеняет незыблемое. Картина – дыра в незыблемое, в то, что смыть невозможно, ибо *то* – не имеет формы, *то* – пустота».

Как мне надоели мои зубы...

Вроде бы нет ничего хуже человека искусства... Всё же есть. Это человек одного искусства, рассуждающий о другом.

Любимая женщина просто меньше раздражает.

Как неумело Л. Толстой скрывает себя, свой внутренний спор в диалоге Пьера и Андрея в XI и XII главах (2-й том, 2-я часть). Это он сам, это столь очевидно, что плеск парама и прочие внешние реалии, с хорошей соразмерностью вплетённые в повествование, не могут снять этого ощущения. Есть такого рода произведения, в которых мастерство зависит от правдоподобного распределения себя между своими героями. Однако Достоевский или Музиль, возможно, и не пытаются «распределять». Им не устоять под напором «своего», и всё рушится, и они видят это, но ничего поделить не могут. Они интеллектуально страстны, прежде всего – страстны. Толстой же прежде всего умён, хотя и его ума не хватает: слишком сложна задача.

«Вакхическая песня» – это кубок

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы

И юные жёны, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Графика очевидна, хотя в таком виде стихотворение, насколько мне известно, не печатают. Очевидность этой формы есть уже в ритме, в звуке... В каждой строке Пушкин находит новое натяжение, как бы выдёргивая обновление всей вещи. Графика-стихотворение соответствует графике-движению пьющего из кубка, а звук – «материалу», который он обозначает, – «материалу» вина, чаши.

Вот открытая чаша – она «открыта» вопросом: «Что смолкнул веселия глас?», – и мягкое «л» есть влажный блеск вина, которое сейчас польётся через это «эль» и узкие горлышки ударных «звонких» гласных: ай, аль, е, е, ю, е, и, е, – и к строке «полнее стакан наливайте» чаша наполнена.

Остаётся с помощью пятикратного «о» опустить на дно

кольца: «На звонкое дно в густое вино...» «Подыдем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!» – это пауза в строении кубка (и перед опрокидыванием его), это утолщение, кольцевидная перемычка, это сгущение звука одновременно: ударные гласные «глохнут» (ы, а, и, а, а, у, а, а) – кубок поднят.

Затем в два синтаксических приёма кубок опрокинут и возвращён столу («Как эта лампада бледнеет...» – подъём, и «Так ложная мудрость...» – спуск). «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» – кубок жёстко поставлен на жёсткое основание. Жест-стихотворение завершён.

Этот случай графически примитивен, его графика – «говорящая». Чаще существует абстрактная графика, взаимосвязанное натяжение линий стихотворения, по которым, я уверен, можно судить о его жизнеспособности (интуитивно, без алгебраических подсчётов).

Допустим:

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши лета,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

И во всём стихотворении то же. У Баратынского графика явна. (Графика – явление зримого ритма. Чтобы ритм был видим, он должен иногда нарушаться.)

После длительного трудового дня я сажусь в такси, закуриваю и еду по тихому вечернему городу. О каком смысле жизни вы говорите?

История грехопадения (как бы ни была ужасающа) не удивит. Она не может быть новой. Она не предмет искусства. Нов только отблеск расстановки вещей.

Соседка: «Они не имеют никакого полного права!»

Мало того что женщине надо говорить вдохновенные пошлости, потом её раздевать, потом самому раздеваться, потом с ней ложиться – вот тут-то, казалось бы, и отдохни – куда там! – надо ещё совершить множество непростых движений... Не знаю... Я и так на трёх работах... Вообще-то, секс – это физиологический юмор (вроде анекдота: слегка

нервное ожидание неизбежной развязки посредством хохотка-хоботка), но занимающиеся им до такой степени не понимают этого, что стонут и серьёзно изнывают под его бременем... Если же это не юмор, то, извините, – работа с приемью необоснованного зверства и сомнительного удовольствия, ибо – отнимающего последние силы... Нет, нет, даже не уговаривайте.

Почему мне всё время предлагают жить в будущем, к тому же – недалёком?

Если духовной жаждою не томим, то следует со всей искренностью предаться деньгам. Большинство же, исчерпав в молодости духовный запас и чувствуя это, тем не менее медлит, колеблется, стыдится. Напрасные плебейские сомнения. Всё-таки был бы выигрыш в истинности самоощущения.

Я нахожусь всё время там, где другие умерли бы от счастья.



В. Ходасевич:

Утро (1916)

Нет, больше не могу смотреть я
Туда, в окно!
О, это горькое предсмертье —
К чему оно?

Во всём одно звучит: «Разлуке
Ты обречён!»
Как нежно в нашем переулке
Желтеет клён!

Ни голоса вокруг, ни стука,
Всё та же даль...
А всё-таки порою жутко,
Порою — жаль.

Вечер (1922)

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошёл.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд,
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?

И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется ещё бродить,
Верить, коченеть и петь.

Иногда чтению стихов Ходасевича сопутствует состояние, о котором он сказал:

«Так бывает почему-то: / Ночью, чуть забрезжут сны — /
Сердце словно вдруг откуда-то / Упадает с вышины».

Или:

«Только ощущеньем кручи / Ты ещё трепещешь вся — /
Лёгкая моя, падучая, / Милая душа моя». В его стихах есть этот взмах, испуг, замирание, — непредвиденная ступенька

на уже, казалось бы, ровной площадке лестничного марша. Стихотворение «Вечер» («Тяжёлая лира»). Лёгкая неточность рифмы: два последних слова двух последних строк каждого четверостишия заканчиваются мягким знаком. Постоянство этой неточности соблюдено с уверенным мастерством. «Падая», оступаясь в мягкий знак, дыхание замирает; лёгкий сдвиг, едва заметное несоответствие рифмы, словно намёк на дисгармонию смертного сердца и долгого подлунного мира, приоткрывает неожиданно новую даль стихотворения – «Боже мой, какая грусть! / Господи, какая боль!» – заставляет изображение поколебаться, без ущерба, впрочем, для чёткости. Так меняет положение предмет, когда смотришь на него, прикрывая то один глаз, то другой. Эта «мягкость» мягкого знака вполне смысловая, противостоящая непреклонности мира, судьбы. Жёстко звучит: «Тяжек Твой подлунный мир, / Да и Ты немилосерд» – подчёркнутая жёсткость двух согласных подряд.

«О вещая душа моя! / О сердце, полное тревоги, / О, как ты бьёшься на пороге / Как бы двойного бытия!..» Не случайно и время дня – вечер, время сумерек, перехода. Или – «Утро» («Путём зерна»). Тоже три четверостишия и то же противостояние: «Во всём одно звучит:

“Разлуке / Ты обречён!” / Как нежно в нашем переулке / Желтеет клён».

Техника исполнения напоминает «Вечер». Рифма и здесь старательно выверена, с тем же постоянством лёгкой неточ-

ности в нечётных строках. Порядок последних букв в рифмующихся строках:

1-е четверостишие

Т, Р, Е
Р, Т, Е

2-е

Л, У, К
У, Л, К

3-е

Т, У, К
У, Т, К

Один из винтиков механизма, который должен выразить: «А всё-таки порою жутко...», – именно этот перескок, запрыгиванье одной буквы за другую; в этом рациональном механизме есть какая-то мистика, хотя само восприятие интуитивно. В этом простом опыте я хочу сопоставить слово с клавишей, которая способна заставить не только зазвучать инструмент (не инструмент-стихотворение – он само собой зазвучит, – а инструмент-восприятие), но и, скажем, сдвинуть его с места. Вполне реально передвинуть, что, примерно, соответствовало бы мистике, сопутствующей механическому, рационально-рассчитанному перепрыгиванью буквы. Будем помнить при этом, что до конца «специально» так не написать. Что точно выверенное правило поддержано стихией, «подсказывающей», *как*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.